

АНАТОЛИЙ ЗЯБРЕВ

СИБИРИАДА



ДОРОГА В ЛЕГЕНДУ

Сибиряда

Анатолий Зябрев
Дорога в легенду

«ВЕЧЕ»

2025

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)

Зябрев А. Е.

Дорога в легенду / А. Е. Зябрев — «ВЕЧЕ», 2025 — (Сибиряда)

ISBN 978-5-4484-5645-9

Сборник повестей и рассказов красноярского писателя Анатолия Ефимовича Зябрева (1926—2021) посвящен труженикам городов и сел, простым людям, в чьей жизни случаются и великие, и смешные, и рядовые, и порой героические события. К столетию со дня рождения писателя.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-4484-5645-9

© Зябрев А. Е., 2025
© ВЕЧЕ, 2025

Содержание

Дорога в легенду	6
На горячие ключи	42
1. Кулички-долгоносики	42
2. Таймени-реликты	46
3. Счастливая страна	50
4. Медведь-геолог	54
5. Барчин, бракшун...	56
6. О чем тосковать суждено	62
На земле потомков Иммакая	63
Конец ознакомительного фрагмента.	68

Анатолий Ефимович Зябрев
Дорога в легенду
Повести, рассказы

© Зябрев А. Е., наследники, 2025

© ООО «Издательство „Вече“», 2025

Дорога в легенду

1

Улус Култук-баргу прилепился в седелке горы, откуда видно все-все очень далеко. Мальчику было десять лет, когда он прочитал стихотворение про Байкал и про то, что горы-великаны Хамар-Дабан и Мунку-Сардык сложены из дорогих камней, а в тех камнях «бегут вперегонки триста тридцать три реки».

Потом учительница принесла в школу странную рыбку: без чешуи и совсем прозрачную, как стекло, через нее даже можно читать.

Учительница сказала, что, вообще-то, никто толком не знает, как и чем населен Байкал. И еще рассказывала старая учительница, что там где-то, в той стороне, где Байкал, есть высокая-превысокая, поднебесная скала. Когда на нее падает луч солнца, она вспыхивает ответным огнем. Птица не летит на нее – боится ослепнуть, зверь бежит прочь. Только немногие, немногие старики знали дорогу к той горе и не боялись подойти к ней. Они приносили в улус камни от той скалы. Но давно мудрых стариков нет, и никто теперь не знает, где та скала.

– Не для нашего рода такая забота, сын, – говорил отец.

Отец хотел, чтобы сын его, Доржи, стал охотником, как и его дед и прадед. Как и все в роду Домжеевых. В горной тайге много соболя. Отец уходил туда с осени и приходил в марте. Ложился на кошму, разостланную по земляному полу, клал за щеку табак и рассуждал:

– У настоящего буряты есть два дела: или зверя бить, или со скотом кочевать. Другие дела не для буряты, помни это, сын. Никаких камней нам не надо. Готовься, скоро со мной пойдешь. За зверем.

В лесу держались последние стаи улетающих птиц. В полдень было тепло, а по ночам морозно и ветрено. Про такую погоду в Бурятии говорят: «Семь погод на дворе: сеет, веет, крутит, мутит, ревет и льет, и снизу метет».

Лоси, изюбры, косули перекочевывали в места, где меньше скапливается снега.

Сосны красные, будто их выкрасили, они видны далеко, с пышными шапками. А лиственницы обнажились, стояли черные, как обгорелые.

В тайге была юрта бревенчатая, с печью, с нарами.

Длинноволосые сарлыки, освободившись от седел, сбежали в лошину.

Отец пошел туда же – к ручью. Скоро там залаяла собака и хлопнули два выстрела. До ночи Доржи прождал отца, а потом и всю ночь ждал. А на рассвете пошел в тайгу по следу. Отец лежал, подстелив под себя пихтовый лапник.

– Седлай сарлыков, сынок. Видишь, неудачный у нас поединок вышел с медведем, неудачный. Медведь ушел, а меня помирать оставил, видишь.

Умер отец вскоре после возвращения в улус. Перед смертью сказал:

– Твои крылья, твоя жизнь, тебе и летать, сынок. Не неволю: какое хочешь себе дело выбирай. Слышь, мать, что я говорю нашему Доржи...

2

– Не знал я тогда, что смерть к отцу пришла совсем глупо. Доверие такое ходит: если заяц повстречался охотнику и если охотник не успел застрелить его – возвращайся, пережди день, потому как все выстрелы по любому зверю зачтутся как большой грех. И отец не стрелял по

медведю: заяц до того повстречался на тропе – не стрелял. И выстрелил лишь, чтобы отпугнуть, но не отпугнул...

Доржи прервал свой длинный рассказ. У потолка висела лампа – стекло ребристое и пузатое. Фитилек огня подрагивал.

Лицо у Доржи крупное, плоское и удрученно-насмешливое. Гладкие волосы зачесаны на самые брови. На подбородке клочок рыжих волос.

– Сегодня я отказываюсь идти в третью ванну. Там течет, как у воробья из носа. В первую пойду, – сказал он.

На него глядела из угла беловолосая девушка, глядела почему-то удивленно и испуганно.

Доржи оперся на костыли, перепрыгнул через тамбур в узкую дверь и там защелкнулся на крючок.

– Вот-вот, оно самое, – молвил кто-то в туманном полумраке. – Оно... вера быть должна: излечусь здесь – вот и точка. Без веры невозможно.

Сурьмяные отблески ходили по лицам. Тянуло в тамбур свежим ветром, настоенным на хвое и цветах. Но от этого запах горячего пара не пропадал.

Передо мной в белом полумраке плыло что-то желтое и широкое, как стена. Пятясь, я нашарил деревянный штырь, приладил на него плащ, рубаху.

Потом все исчезло, и я остался один. Горячая вода уже обтекала бока. Была потребность пить, и я черпал ладонями и пил, и слушал, как вода весело оживала где-то во мне.

Когда поток утихал, я тревожился. И глядел в черную трубу, потому что помнил: в соседнюю ванну как-то, говорят, пролезла через трубу змея...

3

Идею уйти на лето в Забайкалье подправить нервы подсказал Леонид Масленников, наш сибирский композитор. Я недели три готовился. Закупал пшеничную и пшенную крупу, концентраты, котелки и кружки. А потом, навьюченный до той грани, когда уже говорят: «Эка ошалелый», я дотащился до Масленникова и, отдышавшись, бодро ударил в дверь:

– Э-эй, где ты там? Я готов!

– Ково-о? – выглянула на стук старушка-соседка. – Леонида? Уше-ел, как есть ушел. И ключи у меня.

– Куда ушел? Однако... я вот тут посижу, подожду его.

– Как же подождешь? В отпуск, мила-ай, ушел-то. Два дня как ушел.

– Куда?

– А кто ж его знает, бегучего-то, куда он.

– Но-омер! – оторопел я.

Тогда я, обиженный, не мешкая метнулся по городу и сам организовал компанию. В нее вошли: художник Иван Головешкин с женой Таней и Вася Колышев, тоже художник, начинающий, без жены, потому что еще не женился по молодости лет (может, не столько по молодости лет, сколько ветрености). Последнего я разыскал в общежитии, он лежал на железной койке, тыкал пальцем в облупившуюся стену и согласился на путешествие сразу, как только узнал, что все расходы я беру на себя.

– В таком случае считай меня своим адъютантом! – Вася вскочил, натянул рубаху и полез под койку искать завалившуюся опояску, чтобы подвязать штаны.

Потом к нам присоединился учитель географии Доржи Домжеев, едуший в Саяны на минеральные воды. Он передвигался на костылях.

В поезде жена Головешкина, Таня, характером похожая на мужа, вместе упрямого и наивного, спрашивала меня:

– Почему ты ненавидишь женщин?

- Наоборот, они меня...
- Нет, ты так на женщин смотришь, будто...
- Не знаю. Не вижу своего взгляда со стороны.

Головешкин глядел в окно, там шли хвойные, буреломные леса, они то подпирали к вагонам, то отступали, выстилая перед поездом круглые цветные поляны, солнечные и веселые. Головешкин говорил, что вот таежные леса ему непонятны, нельзя определить, какая в их стихийности бьется тайна.

– А небо-то совсем синее, – говорил он. – И в мыслях путаница... А давай я тебя нарисую? Вот так, как есть. Вздохмаченным и злым.

На Головешкине серая полотняная безрукавка, она туго охватывала его крутые мясистые плечи.

- С чего это ты взял, что я злой?
- Вздохмаченный и злой, – подтвердил Головешкин.

«Вечное несоответствие внешнего с внутренним», – подумал я, отмечая, какие до смешного круглые, чистые глаза у Головешкина. Он скрывает свой возраст, неопределенно говорит, что ему больше тридцати, а Таня сказала нам с Васей по секрету, что ему уже близко к пятидесяти. Мне же думается, что Головешкин совсем молод, ему и тридцати нет, он доверчив и прозрачен, но эти свои качества он так же щепетильно скрывает, как и возраст свой. Хочется Головешкину казаться сухим, жестким и, конечно, проницательным.

Разомлев ото сна, я лежал на полке, ловил в ладонь притуманенную, бьющую меж занавесок оранжевую струю солнца. Внизу хромали колеса. Какая-то печаль была и на солнце, которое я пробовал изловить, и на лесах, купно, кипеньем промахивающихся за окном.

И мой Галлю-Олли... Этот желтоглазый добряк, счастливо вошедший в мою жизнь в ту деревенскую ночь, когда меня, еще мальчишку, кто-то косматый и жуткий тащил в черную яму. Мама плакала, я видел маму, я не мог понять, почему мама не отберет меня у того косматого чудища. Но пришел Галлю-Олли и освободил меня. А то чудище убежало и трусливо оглядывалось, притопывая острыми копытцами, и мама радовалась, и я радовался. Врач сказал, что у меня галлюцинация, мне очень нравилось новое ласковое слово «галлюцинация», я тотчас смастерил из этого слова звучное имя бесстрашному освободителю – Галлю-Олли; у Галлю-Олли нет туловища, но есть ноги синего цвета, на каждой ноге по восемь пальцев; нет у него лица, нет головы, но есть глаза, крупные, желтые, веселые, и волосы есть, тоже желтые, тоже веселые; он с той поры сопровождает меня постоянно.

И этот Галлю-Олли сидел сбоку от меня, почти касаясь своими желтыми волосами; и в желтых глазах его была грусть.

Отчего грусть? Может, оттого, что за стеной вполголоса, мягко, по-лесному шелестяще пел девичий голос. Я сперва думал, что это радио там, а оказалось, не радио.

К нам в купе через каждый час заглядывал старичок с вытянутой, сухой козьей физиономией, весь серенький, извинялся и просил спичек. Прикуривал, уходил ссутуленно, оставлял после себя запах дешевых сигарет.

Это был отец той больной девушки, которая пела в соседнем купе.

– Из Каменск-Уральского мы. Советовали нам... Люди советовали. Говорят, тут, за Байкалом, где-то есть такие полезные воды, такие полезные... – волновался старик, утомленное лицо его разглаживалось. – Такие полезные, что, люди добрые говорят, прямо-таки...

За окном вместе с тайгой накатывались возвышенности, изломанные, вздыбленные, готовые опрокинуть наш поезд, глупые и немые.

На Байкале лежал туман, мокрый и неприятный, как медуза. Мы сидели на белых камнях, ждали автобуса. Нас дразнила нерпа, выказываясь из гладкой воды в разных местах, то слева у каменистого берега, то справа, и уже не у берега, а там, где буй. Может, это была не

одна нерпа, а разные, но одинаково мурлатые, выпученно-любопытные, и невозможно было подумать, что это не одна и та же забавляет находящихся на берегу людей, выныривает и опять ныряет. Вася Колышев, заштриховывая страницу блокнота, ухватывал воду в пятнах солнца и облаков, а среди воды нерпичью голову, казавшуюся под солнцем сизой. И между этим своим делом успевал обратить наше внимание на то, что белые, как соль, полупрозрачные камни, на которых мы сидели, – редчайшие на планете, из которых можно делать что-то уж совсем особенное.

К вечеру мы укатили за полторы сотни километров к югу, в Кыренский аймак. Там тоже озеро, мы сидели на берегу, жгли костер, ужинали. Озеро маленькое, лежит в гиблом трясиннике, на нем растет густой ельник, падающий от старости в воду, в кочкарник. Холодные струи прозрачны, безжизненны, таинственны. В их кристальной глубине, сказали нам, скрыто много трагических загадок. Корове ли случалось сюда в туман или в мрак ночной забрести, собаке ли, козе ли дикой – никто не возвращался отсюда, покоятся там, в черном жирном трясиннике. И люди населили это озеро добрыми и злыми духами.

Подошла старая, лет пятидесяти, бурятка, остановилась боком к озеру, оглядела каждого из нас, просто и доверчиво заговорила:

– Далеко перекочевал?

– Чего тебе, бабка? – спросил Вася.

– Айда кочевал ко мне, – сказала женщина таким тоном, будто все мы ее давние друзья.

Широкое обожженное солнцем лицо было как бы под толстой коричневой маской, оно было неподвижным, не выдавало никаких эмоций, зато глаза, ярко-белые, чему-то очень радовались.

– Айда кочевал ко мне, – повторила женщина, заходя вперед и указывая рукой, куда надо нам идти.

Мы спросили, как ее звать, она засмеялась и сказала:

– Надя.

Подождав и видя, что мы не спешим идти, женщина тоже присела, подобрала под себя, под ступни коротких своих ног, подол платья и стала молча раскачиваться вперед и назад, при этом плоская спина оставалась прямой и шея тоже.

Солнце село за сиреневые придымленные горы, от изгороди к изгороди, от скал через дорогу протянулись густые, осязаемо выпуклые влажные тени.

С озера повеяло острой прохладой. Тихо и по-барсучьи мягко наступала ночь. Мы выгребали из костра печеную картошку. Надя, все раскачиваясь, рассказывала о таинствах, связанных с озером.

У старухи Буреченовой, что живет сразу за дорогой, ноги высохли. Отчего высохли? Оттого, что прошла она у самого окаема озера, траву озерную примяла. Давно это было... А желтая болезнь вселилась в соседку Хамнуеву с чего? Эта Хамнуева нехорошие слова про озеро «трепала», с того и вошла в нее желтая болезнь. А с чего бы парню Жалгонову помереть? Мать его, того Жалгонова, палку метнула в озеро. С того и помер парень Жалгонов...

Может, сто лет назад, может, тысячу, камень красный прилетел с неба. Семь дней от него белые духи шли по лесам и степи. Народ падал. А камень тот красный землю насквозь пробил, и вода вышла, потому как на той стороне – океан. Духи – которые ушли в горы, а которые затаились тут. И только мужчинам позволяют духи брать воду из озера безнаказанно. Духи тогда даже очень благосклонны. Напои из этого озера лошадь – и она семь кочевков скакать будет.

А женщине к озеру подступать – грех большой. Она, Надя, легкомысленная была, в девчонках-то сходила по своим надобностям на бугорок, а с того бугорка, зная, и сбежало все

под берег. И нет теперь у нее, Нади, детей, не родятся. И мужа потому нет. Одна Надя в доме, окна маленькие, и скучно ей через те окна смотреть...

Головешкин рисовал Надю на фоне уходящего в ночь озера. Женщина уже не сидела, а стояла, маленькая, напуганная, за ее спиной чернел лес, из озера выползал туман и, мешаясь с тихими лесными сумерками, стлался по травянистому косогору.

А мне виделась женщина, утонувшая по колени в кочках и траве, ее окружали живые существа, белые, смутные, многоголовые, у одних тела круглые, будто тыквы, у других вытянутые вроде большой белой редьки и глаза тупые, печальные, выдавленные из орбит. Существа эти плавали в сумерках, безголовые, тыкались носами в тело бурятки, шарахались назад и снова подплывали, глупые.

Головешкин рисовал Надю быстро и увлеченно. Под карандашом вместе с контурами женщины оживали ее тоска, ее невысказанное удивление, вечернее настроение, живущее в лесу и озере, и не было в картине лишь одного – озерных духов, тех самых, что немо возились вокруг женщины, а без них картина выходила пустой, полрой. Это понимал художник, и в глазах его было страдание. Мне хотелось сказать осторожно: «Гляди, гляди, вон они, белые, нарисуй!»

И думалось мне, почему один из нас видит, другой – нет.

Мой Галлю-Олли благодушно наблюдал за происходящим. Он, желтоглазый, сидел на кочке в свете костра. Ррзовые всполохи ложились на его желтые волосы. Миротворчество Галлю-Олли говорила о том, что ничего тут страшного нет, что озерные духи нынче уже не те, что были раньше, теперь они совсем безобидны.

И Надя после подтвердила это, она сказала:

– Тут зло уже нету, перекочевал зло.

Ночью, однако, духи пришли ко мне и тыкались носами в меня, не давали мне спать, а носы у них холодные и липкие. Тогда мой Галлю-Олли прогнал их, они, ускользая, стали бесшумно крутиться вихрем, по спирали.

Я поднялся, вышел из дома, где спали на полу Домжеев, Головешкин, Таня и Вася. Озеро заполнилось туманом. Под ногами большая роса. Спустился к кустам и стоял, не решаясь идти дальше: там, где-то в белой мокряди, в тумане, начиналась коварная трясина.

Была мертвая тишина: озеро это не давало жизни ни уткам, ни куликам, ни даже лягушкам.

Рассвет еще только прожимался из щелей короткой ночи.

Из тумана вышли белые силуэты, они медленно брели, раскачиваясь, доставая собой край черного неба. Это были женщины, в первой я узнал Надю. Они ушли в лошину и там истаяли, к той лошине озеро подходит своим самым глубоким плёсом.

И была молитвенная речь, долгая и бесцветная. Потом белые силуэты снова возникли на черном небе, над вздыбленным косогором. Женщины тем косогором прошли в переулок, они были в ночных рубахах.

Тогда зашуршала осока на озере, захлюпала вода, из омута вылезли коровы, козы, задрав передние копыта. Животные оставались неподалеку в омуте, и как бы сказал черный омут мне:

– Зачем тревожишь меня? Зачем?

Утром в дом через окно хлынуло невоздержанное солнце. Мы еще лежали на полу, радовались такому утру, вытягивали руки и старались ухватить тот широкий желтый луч, что протянулся от подоконника через всю комнату.

Из-за дощатой перегородки высунула голову хозяйка Надя. Увидела нас, еще лежавших рядком. Как бы пересчитала, убеждаясь, все ли мы на месте, в целостности и сохранности, а убедившись, растянула в довольстве рот. Было впечатление, будто маска треснула. Зубы у нее широкие, сахарные. И потом говорила:

– Злой дух нету. Перекочевал. Добрый дух есть. Дети родить надо. Ночи на озере ходить и добрый дух просить: отдай дети родить. И муж отдай. Нету муж и дети – нету родить. Злой дух забрал дети родить. Давно забрал...

4

Налево, как бы сразу за огородами, поднимались горы, молочные, с синим отливом. Тункинские белки. О них по дороге сюда у нас с Васей шел спор: я говорил, что это облака, тонкие, плотные, блекло-синие, а Вася уверял, что не облака это – горы. И Вася выиграл спор. Я ему сказал об этом, он равнодушно зевнул. Дескать, много ли ума надо, чтобы у тебя выпорить.

День оказался суетным. В центре селения на площади у пожарной каланчи охмелевшие оркестранты, задрав к небу свои трубы, выдували: «Эх, яблочко, куда катишься...» Их подзадоривали пожарники, затянутые в толстые брезентовые ремни с цепями.

Так отъезжала в Нилову пустынь из Турана очередная партия болящего народа, скопившегося тут с прошлого вторника. Только раз в неделю разрешен туда, в приграничную зону, заезд.

– Я тоже кочевать в Нилову пустынь. Болезнь лечить надо, – сказала хозяйка.

Она грузила в кузов мешок картошки, мешок редиски, полмешка сухарей, кубометр колотых дров...

У нее отпуск, она к этому отпуску готовилась давно, ждала лишь попутного грузовика.

– Вместе давай, – приглашала добрая Надя. – Кочевать вместе давай.

У нас, то есть у меня и у Головешкина, а тем более у Васи, не было определенной цели в нашем путешествии, не было никакого маршрута. Мы просто думали: пройдем по светлому Иркуту, выберем место у бережка, поставим палатки под березами, проживем сколько-то и дальше потопаем, севернее или южнее, западнее или восточнее – все равно. Э-эх, хорошо вот так раскинуться душой и телом!

В вечерней синеве полями и лугами,
Когда ни облачка на бледных небесах...
Без цели, как цыган, впивая все, что ново,
С природою вдвоем...

Цель была только у Домжеева. Потому он залез в кузов грузовика, прилачился на мешках и уж сверху говорил что-то Головешкину, указывая на горный перевал. И когда грузовик, встряхиваясь кузовом, тронулся, Домжеев все показывал, тянул руку к перевалу.

– Вот что, – изрек Вася, взглядевшись из-под руки в глубину сизой межгорной долины, туда, куда укатил стреляющий выхлопами грузовичок. – Вот что. Туда и нам надо... Нечего от народа отрываться.

Странно, это на нас подействовало, хотя Таня рассмеялась, а Головешкин протестующе буркнул: «Еще чего».

С площади, где играли веселые пожарные оркестранты, мы уже не отходили, вместе со всеми ждали маршрутного автобуса, который с минуты на минуту должен был выкатиться на дороге между двух растущих наособицу кряжистых старых сосен.

Крутолобый автобусик, ожидаемый с утра, пришел, однако, в двенадцатом часу и долго выворачивал кренделя по улице и переулкам, не открывая дверцы, и мы вместе с жаждущим народом бегали за ним, чтобы занять места, и шоферу было весело.

Автобус вмещает в себя шестнадцать человек, но, использовав внутренние резервы, он берет трижды по шестнадцать, шофер солидно считал, так что Таня оказалась тридцать восьмой, Головешкин тридцать девятым, Вася Колышев, сумевший меня оттеснить локтем, соро-

ковым, я – сорок первым. Мне в затылок еще кто-то горячо дышал и кто-то слюнявил левое ухо. Кто-то громко рассказывал:

– Лесничий-то, Прохор Васильевич-то, вон маялся нижней частью... Свою болезнь лечил. Так с ним-то, с Прохором-то Васильевичем, грузин один наезжал из Тбилиси. В лёжку лежал человек. Его своей машиной сюда доставили. В лёжку прямо. А через месяц, после ванны, своим ходом отсюль ушел.

Головешкин вспомнил, что у него болела поясница. Таня тоже вспомнила про это, и оба обрадовались, что вспомнили, потому что на чудодейственных водах они будут не праздными, им будет чего лечить.

Головешкин говорил, что все сибирские города, села, деревни и деревушки ему видятся на пространстве от Оби до Лены, до Амура как архипелаг бесконечного множества островов среди великого и грозного (а может, и совсем не грозного, а доброго, нежного?) океана, название которому Тайга. И вот этот маленький улус Туран, через который мы проехали, тоже островок, обжимаемый лесами и с севера, и с юга, и с востока, и с запада, и эта хвойная стихия накатывается с гор, как прибой, который набегает где-нибудь в Тихом океане на Хива-Оа или на Фату-Хива.

Странно, мне тоже, бывает, думается так же, и приходят на память путешествие мужественного Хейердала и его жизнь с прекрасной Лив на маркизских землях, и тогда острая тоска берет меня за горло, и фантазия подносит черт-те знает что. Нет, мне совсем не хочется туда, за тридевять морей, к экзотическим полинезийцам, вернее, я не сказал бы, что мне этого уж очень хочется, просто берет тоска по чему-то неясному, неопределенному, как горизонт в предвечерних сумерках.

Я все чаще замечаю, что мои друзья глядят на мир, на предметы, на людей с ожиданием чего-то, а чего – и сами не знают; и я вот тоже боюсь прозевать что-то; и когда степь однообразна и тайга примелькалась, я все равно тарашусь: а вдруг – да?.. И в улусе Имен, где автобус остановился, чтобы охладить перегретый, перегруженный мотор, я лежал на траве, мягкой и густой, коротенькая улочка была пустынна, проглядывалась из края в край насквозь, тянулось время, а перед взглядом, улицей, вдоль жердяной изгороди, лишь мальчишка проскакал верхом на косматой низкорослой лошаденке, похожей на сарлыка, да стайка гусей в компании с телком пересекали дорогу от двора к двору, но я тем напряженнее вглядывался в улицу, заканчивающуюся на возвышенности синим небом, думалось: вот-вот оживет какая-то тайна, тайна эта выпрыгнет из какого-то двора, и это надо не прозевать. А тайн в нашей Сибири много. Ведь Нилова пустынь – это тоже какая-то тайна.

5

Дорога втянулась в ущелье, небо стало узким, как натянутая лента синяя.

Солнце перешло на вечер, и на горной речке Эхэ-Угун, белой от пены, лежали мертвенные холодные тени, бросаемые с высоты хвойными деревьями, укрепившимися на каменных террасах.

Навстречу нам седенький старик катил низенькую коляску с дочерью, за ним шли те, кого мы видели в Туране, они добрались сюда на такси на несколько часов раньше.

Девушка в коляске полулежала, утопив локоть в красную подушку. Она глядела в небо; глаза у нее почти квадратные, яркой зелени, а волосы льном рассыпаны по плечам.

– Добрый вечер, – сказала наша Таня.

Больная не ответила. И старик не отозвался, он, горбясь, катил коляску, не замечая никого.

Скалы, вздыбленные высоко, подошли и слева и справа, сурово-отвесные. Их как бы кто разрубил, проделывая ущелье. По гладким, окатистым валунам лениво ползали толстые, зажившие ящерицы.

В каменных расселинах, будто в кувшинах, стояли одиночные кедры, широкие кроны которых усыпаны сизыми литыми шишками, еще не созревшими.

Первобытной силищей дышали скалы, небо, река, гулко бьющаяся на порогах... Все тут дышало несокрушимым здоровьем!

И мне думалось: не это ли все главное в том комплексе врачующих сил, что притягивает сюда страждущих за многие тысячи километров?

Жилище свое мы сработали основательно. Под каждую палатку соорудили по настилу на кольях, чтобы не ощущать стылости камней. А Вася Колышев взобрался на сосну, наклонно нависшую над речной заводью, вернее, над бухточкой, и установил свою палатку там, меж сучьями.

– Хозяин увидит – не похвалит, – сказала чья-то голова, выставившись из хвойных зарослей.

– Какой хозяин?

– Понятно дело, ниловский. Без хозяина как? Он сурьезный, строг. Баловства не потерпит.

С тем, кем пугали нашего Васю, мы встретились на другой день, он оказался парнем лет двадцати с немногим, смуглый, щеки будто срезаны. Сидел он в крошечной будочке размером три шага в длину и два в ширину, стоявшей на открытом косогоре, держал в руках длинный узкий лист бурой оберточной бумаги и, шаря запавшими глазами по этому листу, спросил нас, по списку ли мы к нему вошли. Мы сказали, что не знаем ни о каком списке, тогда парень привстал и, перегнувшись над столом, указал в окно на вереницу народа, медленно накатывающегося дорогой под черной скальной стеной.

– Они вон сейчас новый список составлять начнут. Вы к ним и... давайте... пристаньте. Тогда по списку я вас приму. А без списка никак...

– Это сам начальник курорта, – шепнули нам за дверью. – Он же и главный врач.

После мы выяснили, что парень, мужественно объединяющий в себе функции начальника самодеятельного курорта и главного врача этого курорта, имеющий фельдшерское образование (учился в Красноярске при краевой больнице), является тут, среди диких гор и лесной стихии, единственным лицом и от медицины, и от милиции, и от советской власти вместе.

6

Из-под берега вышла Надя, на голенищах ее бурых сапог, влажных от росы, скользило лиловое солнце. Она остановилась под елкой, дернула ветвь, и на землю спрыгнула белка. Надя что-то протянула ей в горсти и что-то говорила при этом. Потом так же останавливалась под другими деревьями, дергала за ветки, колючие и разлапистые. И тоже протягивала руку. А из пахучей хвои выпархивали серенькие остроголовые пеночки-таловки и как бы жужжали: «тзи-тзи-тзи-ррр...» Птицы склевывали с ладони что-то и пропадали в вершинах деревьев. Она сказала:

– Птицы надо кормить. Птицы добрый дух живет. Добрый дух дети родить дает.

Река билась о камни, темная и вспененная. Надя очень внимательно оглядела реку, прицелилась, забросила в пенную воду крючок. И почти тотчас вытянула крупного, в пол-локтя, серебристо-синего хариуса.

Еще вытащила одного, упрятала в брезентовую сумку, висящую на шее перед грудью. Снова прицелилась. Зеленая сумка подпрыгивала.

Я поглядел в таинственные воды, потом в глаза пожилой женщины, улыбочивые, еще более таинственные, чем эта река.

– В жизни важно движение, – тыча в бурую жесткую землю костылем, сказал Доржи Домжеев.

– Как это? – не понял Вася Колышев.

Доржи не считал нужным ему отвечать.

– А пока я б на вашем месте тут не задерживался. Если б мне ноги, в горы двинулся. На Шумак бы двинулся, – закурив, молвил Доржи.

– А что такое – Шумак? – опять хмыкнул Вася.

– Шумак – это о-о! Чудо на земле! О-о! Рай! Соображаешь?! – взорвался Доржи и, выждав, попыхал сигаретой, потом пояснил уже почти ровно: – Это там, недалеко от того места, где я своим ревматизмом обогатился.

– Вот так чудо! – засмеялся Вася Колышев. – Ты, друг, что же, хочешь, чтобы и мы такой же штукой обогатились? – Вася указал на костыли бурята.

Мы уже знали, при каких обстоятельствах наш друг Доржи отхватил свой жестокий ревматизм.

После института он преподавал географию в Норильске, и там ему пришла дикая идея: завезти в город и акклиматизировать голубую ель. Ведь логично: в тундре хорошо растет карликовая береза, а голубая ель растет в Саянах рядом с такой же карликовой березой, значит, оба дерева одинаково морозоустойчивы. Елку парень отыскал в Восточных Саянах и там же вместе с ней застрял до поздней осени, при снегопаде, пока вертолет его не вывез, больного, истощенного...

Оранжевые спицы солнца, будто обтянутые тугой резиной, подпрыгивали на бурых переплетениях корней, выпирающих из жирной земли.

Потом, уже в темноте, когда окровавленная сосновым огнем площадка вокруг костра казалась единственным обитаемым местом и Васино жилище поглотилось туманом, и Таня тащила своего Головешкина от костра в невидимую палатку, я услышал песню за лесом.

Песня была как будто без слов. Из каких-то необъяснимых звуковых спиралей. И эти спирали легко и нежно ложились в ночи на горные хребты.

Жили в песне та же глубокая тоска и печаль, как и тогда, когда я впервые услышал этот голос, эту песню в вагоне.

И так же мой Галлю-Олли (он сидел теперь рядом со мной у костра, подобрал под себя свои восьмипалые лапы) насторожился, желтые глаза его стали грустными и очень добрыми.

Билось короткое пламя, оно обегало последние полешки, те, что откатились в сторону, и поэтому пламя шелестело тихо, меняясь в красках.

7

В Толковом словаре русского языка слово «пустынь» объясняется так: «Уединенное место, где живет отшельник, позже – монастырь, возникший в безлюдной местности». И еще в том же словаре объясняется слово «пустынник»: «Человек, поселившийся в пустыне, в уединении и из религиозных соображений отказавшийся от общения с людьми. Отшельник». Отсюда становится ясно, что Нилова пустынь названа так потому, что...

Впрочем, нам сказали, что среди «курортников» ходит тетрадь с описанием местной истории.

Это оказалась выписка из старинной книги по истории Азиатской России, где я вычитал:

«Из архипастырей Сибири в XIX веке был замечателен миссионерской деятельностью Нил Исаакович, архиепископ Иркутский. Заслуга его (1838–1853 гг.) в успешной проповеди среди бурят: для них он перевел священные и богослужебные книги. Этими трудами он при-

влек в церковь Христову до 20 тысяч ламаитов и язычников. С именем этого владыки соединяется существование Нило-Столобенской пустыни. Пустынь основана на одном из притоков Иркутта, в так называемом Тункинском крае. Она служит миссионерному делу. Здесь имеются прекрасные теплые источники, весьма полезные для страдающих разными болезнями. Целебные качества вод и сравнительно невысокая плата за пользование ваннами привлекают сюда много больных...»

Таким образом, о самом Ниле кое-что прояснилось, а о Ниловой пустыни – ничего, кроме того, что мы уже знали.

В крайней ванне кто-то разлил карболку, запах стоял густой, приторный. И очередь волновалась. Пятно лампы было холодным и далеким. Метались призрачные силуэты.

В углу расслабленно дремали, сидя на скамейке, Нина и ее отец. Они держались за руки.

Там же устроился на березовой чурке Доржи Домжеев, он сегодня не рассказывал о своих приключениях в Саянах, молча курил и кашлял.

Крупная голова его в полумраке как бы двоилась от густой тени, падавшей на лицо.

С моего положения были видны лишь его левая скула да шотландская борода.

Сразу за раскрытой дверью начинался кедрач. Деревья вырастали из скал, удивляло, как это они ухитряются так расти.

С косогора сбежал Вася. Он принес поллитровую банку земляники; сложил правую ладонь щепотью, вскинул руки над головой, встал на цыпочки и вытянул губы:

– Тррррюую-у-у! Поняли? Сейчас видел березки. Обязательно нарисую. Завтра же пойду и нарисую картину. Они такие белые, стоят густой толпой, ровные... Одним словом, такие: тррррюую-у-у!.. Поняли?

– Не получится картина, – сказал Доржи. – Этюдик, может быть, еще...

– Как так?

– А в картине художник выражает... Себя выражает. Не срисовывает, а выражает. А если нет себя, то что же он станет выражать, а?

– Как нет? Леонардо да Винчи и Ван-Гог говорили...

– Вот-вот, – озлился Доржи. – Пока человек попугаем повторяет, кто чего сказал, этого человека еще нет. Ну, не родился. Он ест, дышит, а человека-то в нем еще нет. Так и ты...

– Не согласен. Как это: человек родился – и в то же время нет его, как бы не рожден? – Вася обиделся.

У ручья Таня, присев на корточки, мыла картошку, купленную у местных бурятов, живущих в двух юртах в узкой долинке между скалами. Кто-то громко ругал порядки в Ниловой пустыни: не торгуют в ларьке овощами и не каждый день привозят хлеб.

Нина по-прежнему держалась за руку отца, который был в этот момент очень усталым и очень старым. Большой толстогубый рот ее дрогнул, сузился, на переносье конопушки потемнели, так выходит у детей, когда они хотят заплакать, расстроенные.

Вася разместился на камне, принялся быстро рисовать Нину. Он сделал зелеными и волосы, и лицо, и платье, вернее, платья не было, вместо него лес.

Старик глядел на картину очень серьезно и печально, а Нина растерянно, удивленно, она теребила подушку своими длинными тонкими белыми пальцами, белое на красном было сейчас неестественным, она что-то тихо Васе сказала, я не расслышал.

Вася отнес картину под дерево и прицеливался с расстояния. Доржи тоже прицеливался, очень взволнованный, он сидел неудобно, как бы подпирал себя сзади ладонью.

Зеленые глаза с картины глядели доверчиво, беззащитно, так дети глядят на огонь. Не было границы между зеленым лесом и зеленым портретом.

Я думал о своих ощущениях, не от картины, нет, а вообще. Думал, что все дело тут, наверное, в том, что в поле, в лесу на нас работает такая приправа, как небо, воздух, шум речки и ручья, звезды, пение птиц, тени...

8

Эту ночь я спал очень беспокойно, просыпался, чиркал спичкой, глядел на часы и ждал, когда в марлевое оконце войдет рассвет.

Ночь лежала тяжело, она была влажная и глухая. Головешкин, Таня и Вася уехали в Слюдянку рисовать Байкал, там сейчас шторм, об этом сообщил приезжавший таксист. А Доржи ночевал на левом берегу в юртах у своих земляков-бурят.

И чудилось, что вокруг меня нет людей ни за километр, ни за десять, ни за сотни километров. И на всей планете только я да тайга, настороженная в ночи, да неистовый, бьющийся Эхэ-Угун...

И еще чудилось, что придет медведь из зарослей, с той стороны, где марлевое оконце. Станет зверь бить лапой, мять палатку, и хотя со мной ружье, заряженное картечью, я все равно погибну, потому что в полудремоте не успею выстрелить.

Я пробовал подшутить над собой, вспоминая Хемингуэя, говорившего, что истинный мужчина не боится смерти, а я, выходит, мужчина неистинный, раз боюсь смерти. Хемингуэй говорил, что мужчину, который не боится смерти, видно сразу, идет ли он по улице, мурлыча под нос песенку, пишет ли бумаги, ухаживает ли за женщиной, а коль он превозмог боязнь смерти, то уж ни на земле, ни над землей такому человеку нечего бояться, и он самый счастливый из всех. И у женщин, даже самых красивых, гордых и целомудренных, нет сил пройти мимо такого мужчины, ему неведомы тревоги и опасения...

Перед сном я читал «Вечерние беседы» Максима Рыльского. Я стал думать о них. Внимание остановилось на том, как старик, всю жизнь молча любивший замужнюю женщину, признался ей в любви лишь после того, как она, тоже став старухой, овдовела, и она в свою очередь сказала, что она тоже любила его всю жизнь. И очень красиво вышло у них, в статье не сказано, что было дальше, какие были еще слова, но я представил, что они очень порадовались, что так вышло у них. И представил, что они теперь и из жизни уйдут с любовью. И сделалось от того веселее, и ночь стала не такой тяжелой, и тайга не такой дикой.

«А было ли бы у них так, живи они не порознь, а вместе?» – вдруг окатило меня.

Я снова стал дремать, и приснилось, будто кормил я поросят живыми щенятами, щенята визжали, а я приплясывал от удовольствия. И какая-то сморщенная коричневая старуха в красном сарафане грозилась мне из окна пальцем, и я смутно догадывался, что это моя бабушка, и в то же время сознавал: не может быть, чтобы в окне оказалась моя бабушка, потому что я хорошо помнил, как я бежал за черным длинным гробом...

За палаткой кто-то плакал, по берегу кто-то ходил, хрустя галечником. Перед глазами висела рыжая лапа. Я вскинул руку, ударил по тому месту, где висела лапа, лапы не оказалось, я не поверил, поднялся и пошарил.

Это, говорят, нормально, что кошмары, – так реагирует любой организм на радоновые ванны.

А в марлевое оконце уже просился мертвенно-бледный рассвет: медведь не пришел; в крышу палатки ударились пробные капли дождя; деревья проступили и отделились.

В правой коленке тупо ныло, и я решил, что отлежал, и стал ждать, когда забегают мурашки, – так всегда бывает: когда отлежишь ногу или руку, то бегают мурашки.

Принимающим ванны надо беречься очень: кутаться, не умываться в реке, меньше ходить и не поднимать тяжестей. Я же ни одно из этих условий не выполняю.

Бедный фельдшер Володя не успевает не только осмотреть каждого больного, не успевает он и сказать ничего о режиме. Нас около тысячи. И эта тысяча, как вода, в реке, обновляется. Через восемь – шестнадцать дней – новая партия, новая. Это мы не от фельдшера знаем, что при ваннах нельзя ни ходить много, ни остужаться, ни поднимать тяжести. Это мы знаем друг от друга.

Вода в реке оставалась высокой, я пошел вдоль берега, вода билась о камни и шипела на песке. Я подумал, что хариус не будет брать крючок, раз вода большая.

Река эта всегда поднимается как-то вдруг, за час-два она затопит берега, простоит сутки-полтора, потом так же неожиданно пойдет на убыль, и, глядишь, уже пережат оголился, и вода стала по-стеклянному прозрачной, и армия рыбаков возликует: «Во, теперь-то хариус пойдет!..»

На том берегу звенел белогрудый бекас. По лесу тянуло сладким березовым дымом. Я пошел вдоль берега, и когда река свернула влево, нашел то, что ночью «плакало». Это была крупная зеленоватая галька с воронкообразным отверстием, такие в Крыму называют «куриным богом». Галька застряла меж камней, вода и песок пробивались через нее, выходило тоскливое завывание. Потом я нашел причину и третьего явления: по берегу ночью никто не ходил, это камешки хрустели сами по себе, выбрасываемые на песок волной.

Костер еще дымился, я накатал в него огромных камней, а сверху набросал дров и раздул. Когда вернусь из ванны, камни будут горячими, я набросаю их под матрац и стану чувствовать себя на печи.

Тропа, которая уводит меня каждый день на ванны, выбита среди камней и темно-бурых корневищ, она то спадает под берег, и тогда под ногами идут волны, то взбирается на косогор, протискиваясь меж вековых морщинистых листовниц.

Палатки, разбросанные в лесу, теперь не сливались с хвойной зеленью, как прежде. Темные и набухшие, они выпечатывались на фоне белых берез и красных сосен обильными жирными пятнами и пуще чем когда-либо напоминали пчелиные ульи. Из палаток выглядывали удивленные лица.

Поднимались голубые струйки утренних костров.

Утренние и дневные костры всегда тощие, болезненные, готовые вот-вот последний раз вздохнуть и умереть, они далеко не родня тем веселым и буйным, которые устраиваются по вечерам.

Утренние и дневные костры – они для дела, для того чтобы пахло капустой, луком... А вечерние – для эффекта, для силы, для таинства.

И деревья вдоль тропы богато увешаны лентами. Струится на пути веселый родник.

Люди приходят к роднику мыть глаза: для остроты. А потом пьют – для бодрости.

Я ни разу не пил из этого родника. И поэтому с интересом наблюдал, с каким наслаждением опорожнял бутылку родниковой воды, выпятив заросший кадык, Доржи Домжеев.

– Хо-ороша водичка, – хвалил он.

– Полезная? – спросил я.

– А то здесь одна старушка, говорят, была. Она месяц тут лечилась и все пила воду, которая в ванну идет. Радоновую. И двух недель не протянула, возвратившись домой, умерла. Весь желудок покрылся язвами от радона.

– Что? – спросил я, холодея.

– Двух недель не протянула. Язвы пошли...

У меня внутри что-то оторвалось. Ужас, я-то все пью радоновую воду из ванны!

Туман цеплялся за камни, за вершины деревьев и медленно, по наклонной то поднимался к небу, растекаясь на рваные ленты и лоскуты, то вновь спускался к реке и там скользил по ее вспененной гриве.

9

Доржи указал под берег, где сидела и плакала молодая женщина.

Она сидела к нам спиной, в черном свитере и черном чепчике.

– Что она?

– От счастья.

Я видел эту женщину прежде. Она приехала днем позже нас. Тогда было очень жарко. А она – в толстых черных перчатках, укутанная в плотный шарф.

– Семнадцать лет коростой страдает, – шепнули тогда про нее. – Живого места на теле нет.

Глаза бесцветные, скорбные: они как бы что-то просили, и люди отворачивались, не умея помочь.

И вот теперь Доржи говорит, что она плачет от счастья.

– А видишь, уже без перчаток, без шарфа. Пять ванн приняла, и уже помогло. Мне бы снова ноги, я бы – на Шумак, в ту долину, в те горы...

«Что это там за Шумак, о чем тоскует этот мужик?»

Я заподозрил, что Доржи, говоря о Шумаке, что-то не договаривает, скрывает. У него – тайна.

И опять эта тайна, которую я всегда боюсь прозевать.

Горячий ручей вытекал из ванн. И люди вырыли на ручье глубокую лунку, сунули туда кто руки, кто ноги, сидели на камнях. Это те, кому еще не удалось заполучить разрешение на ванны. Люди, не теряя времени зря, добывали себе исцеление здесь как могли.

10

Вечером я снова в одиночестве сидел у костра. А костер соорудил у самой воды. И когда у воды была охота потрогать мои ноги, она делала это. И я, босой, вздрагивал от ее холодного прикосновения. Вздрагивал от ложного испуга, будто ко мне подобралась какая-то неведомая рыбина с неведомым для меня намерением.

Я только что прочитал в газете статью врача Шумилова о прибайкальском курорте со звучным названием Горячинск. Интересно привести ее:

«В один из февральских дней у подъезда нашего лечебного корпуса притормозила машина. Больного вывели из нее под руки. Это был рабочий Татауровского комбината стройматериалов Г. И. Кашин. Вот уже длительное время врачи не могли ликвидировать у него последствия перелома бедра. Больной мог передвигаться только на костылях.

Минул месяц. Г. И. Кашин покидал курорт вполне здоровым человеком...»

Дальше врач Шумилов негодует:

«За последние годы (виной тому отчасти неосведомленность и недостаточность пропаганды других источников) случилось так, что лучшим местом для излечения кожных заболеваний (экзема, лишай, долго не заживающие раны) и суставов больные стали считать Нилову пустынь. И вот уже выстраиваются там палаточные городки, скапливается множество народу у каких-то десяти имеющихся самодельных примитивных ванн, да и лечение идет без врачебного надзора.

А между тем воды горячинского источника по силе воздействия на такие болезни не уступают ключам Ниловой пустыни. И если принять во внимание обжитость нашего места, наличие квалифицированных врачебных кадров, то вероятность скорейшего излечения на нашем курорте, несомненно, выше. Действие горячинских вод таково, что 92 процента больных выпишываются от нас, почти полностью забыв о болезнях...»

Я думал о том, что статья очень хорошая, очень убедительная, и это здорово, что в Сибири есть такие здравницы. Но отчего-то люди предпочитают все же ехать сюда, в Нилову пустынь, где нет ни хороших спальных корпусов, ни достаточного количества ванн, ни даже врачебного надзора. Неужели это лишь от неосведомленности, как пишет Шумилов? А может, народ знает что-то такое, чего еще не успел узнать тут Шумилов?

Я думаю, что в Сибири у нас еще очень мало колумбов, и оттого так много неразгаданных тайн.

Ночи всегда в ущелье плотные, почти физически ощутимые. Ушли и те горы, что слева, и все утонуло в неистовом шуме неистовой работы старого Эхэ-Угуна.

И Эхэ-Угун невидим в темноте, он растворился в ночи: лишь там, где режут подводные камни, видна его белая грива.

И оттого, что не видно ни гор, ни леса, ни реки по ночам или днем, когда сижу, плотно задрапировавшись в палатке, мне всегда кажется, что где-то там, за невидимым горным клином, работает гигантский кузнец; и кузнец этот в железном фартуке, в железных сапогах, в железном шлеме, и борода у кузнеца проволочная, а глаза огненные, и бьет этот кузнец по наковальне с придыхом – хы-ху, хы-ху, – уже много тысячелетий кует что-то известное только ему самому.

И ни секунды передышки, все: хы-ху, хы-ху... Только в погожее время шум мягкий, а в ненастье – по дикому резкий, неукротимо буйный, словно к тому великому кузнецу приходит помощник и уже вдвоем они куют и дуют в меха: хы-ху...

В стороне плескался костер наших соседей, дальше по этому берегу уже никто не живет, их палатка крайняя. Между мною и тем костром участок тряской замшелой земли. И на фоне того гривастого костра шатались силуэты разбухших деревьев.

Там сегодня поселились те счастливые, о которых говорил Доржи. Они разбили одну палатку на двоих, подальше от всех глаз, и, как только они это сделали, люди о них заговорили грязно, потому что всем известно, что они не «муж и жена». А они вышли из палатки полуголые и до вечера стояли под солнцем на пустынной каменистой косе. Он какой-то иссиня-бурый, болезнь успела просушить его до костей. А она рыхлая, в желтых плавках, в желтом лифчике, глубоко врезавшемся в серое тело.

Этих счастливых я вряд ли б заметил, если б не желтые эти плавки и не желтый лифчик, что среди дневной зелени, буйно окружающей нас, ложились противоестественным и вместе с тем радостным пятном.

«Люди не могут объяснить смысл слова „счастье“», – думалось мне.

Захотелось подойти к тому мужчине (он из Ачинска), поговорить с ним, но я не знал, о чем говорить. Мужчина подошел сам, тряхнул соломенной шляпой и объявил:

– Презираю!

– Кого? – насторожился я.

– Обывателей разных!

И тотчас удивил странным вопросом:

– А что такое декадентство? В энциклопедии сказано: «Искусство упадническое». Но до какой ступени упало оно в живописи: до импрессионизма, академизма или до эпохи Возрождения? Логично? В живописи было много разных направлений. А где их картины? В подвалах! А скажи честно: в подвалах ли им место?..

Вопросы были так неожиданны, что я не мог собраться с мыслями. Мужчина ушел к своему костру, считая меня профаном. А я и в самом деле профан, я никогда об этом не думал. Подозреваю, что мой друг Вася тоже не думал об этом, открывает открытое по простоте душевной: ему ведь неоткуда знать толком ни об импрессионистах, ни о символистах... Вася как-то показывал мне картины: факел плавит цепи рабства; согбенная спина мужчины, вернувшегося с войны на пепелище; голова фашиста, вся как бы из тысяч крошечных человеческих

черепов... Но я оставался равнодушным и к спине над пепелищем, и даже к страшным черепам на лице фашиста. Из всех песен, написанных про Отечественную войну, меня ни одна так не потрясла, как «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой...». Слова простые и музыка обыкновенная.

В Музее революции я видел, как толпы людей зачарованно останавливаются у картины Бродского «Митинг на Путиловском».

Мой друг Вася, которому я поведал об этом, сказал:

– А ты знаешь, что картина Бродского написана неграмотно? К зрителю одни затылки. Ее глядят те, кто не понимает законов композиции.

Девчата-хакаски из глухого таежного улуса по весне, в конце мая, выходят на лесные лужайки, густо покрытые цветами, ложатся и плачут от избытка чувств – их волнуют цветы и ароматы, а не законы чего бы то ни было, искусства или природы.

11

Весь палаточный городок говорил о романе Доржи и Нины. Ну, романа, конечно, никакого не было, это, на мой взгляд, преувеличение явное, а была взаимная симпатия, а точнее, глубокое, сердечное расположение Доржи к ней, что же касается ее, то судить пока не берусь. Знаю лишь, что старик Павел Павлович, то есть отец ее, сказал ему при встрече:

– Ты без ног, она без ног, куда ж вам?

Сказал тяжело, будто камнем бросил. Старику больно было бросать такой камень, но что поделаешь? Хотя не могло быть сомнений насчет серьезности намерений уже не очень молодого бурята к этой семнадцатилетней русской девчонке.

У Доржи была невеста, там, в Норильске, тоже в школе учит детей, как и он. С той поры, как случилась с ним беда, не стало между ними прежней сердечности.

Нину чаще всего я видел у горячего ручья сидящей меж теплых камней. Она спрашивала, о чём я думаю, я отвечал, что так, ни о чем. Она поднимала голову к небу и начинала задумчиво напевать. Кто-то в лесу принимался подсвистывать, сперва как-то бессистемно, потом, нащупав мелодию, свистел почти складно. Мне тоже хотелось этак же грустно насвистывать, удерживая разлитую в воздухе, в горах, в шуме реки мелодию.

По лесу шел мягкий шелест, пахло травами. И у меня в груди что-то тихо млело, и я подумал, что это за удивительное свойство в голосе девушки – все вокруг себя окрашивать в грустные тона.

Играют зарницы
На том берегу,
И снится, не снится,
И спать не могу.
Играют зарницы,
Ромашка цветет...

В сумерках я ходил по тропе, пробовал считать звезды, те, которые упали в реку и зыбились там на густых черных перекатах; устал считать.

И ждал, когда по горам пойдет сизый свет Полярной звезды.

Кто-то охнул, я повернул голову – никого. Я раздвинул ветки. На меня надвигался высокий, до звезд, черный силуэт.

Я выждал момент, когда человек несколько отдалился, очертания его стали снова неясными, тогда я выпрямился и тихо, чтобы не хрустеть галькой, пошел по-над рекой.

Силуэт шарахался в просветах между деревьями, он снова доставал головой небо, растворялся в темноте леса, тогда слышалось тяжелое, загнанное дыхание, будто там страдало очень большое раненое животное.

Человек вывалился из лесной черноты, голова его свесилась под яр и пришлась вровень с моим лицом. Он лежал, успокоенный, прислушиваясь не то к земле, холодной и мертвой, не то к самому себе.

Я растерянно глядел в то бледное и текучее пятно среди свесившихся веток. Я медлил что-нибудь сказать, а сказать теперь уж что-то надо было, но, кроме глупого: «Чего это ты среди ночи?» – ничего в голове не было.

И я стоял неподвижно и глядел в лицо, которое светилось блеклым текучим пятном.

Я считал, что Доржи меня не видит за ветками кустарника, но он видел меня и спросил:

– Ты только сегодня за мной глядишь или еще и прежде?

– Тебе помочь подняться? – спросил я.

– Отдохну. Так отдохну.

С узкого, как щель, неба беззвучно падали звезды, тонули в реке.

– Не верю в фатум. А покоряться случаю – это все равно что верить в фатум. Не помогай, я сам. Ты видел, как я шел? Уже восемь шагов делаю. Восемь! Если думать, что ноги пойдут – они пойдут! Как верить, как желать...

Я повторил про себя: «Как верить, как желать». И подумал: «Кто-то из крупных медиков говорил, что в нашем теле есть лекарства от любых болезней, надо только сконцентрировать волю, отыскать в себе эти лекарства и направить их своей мыслью и волей на то, что болит. Не каждому удастся сконцентрировать волю...»

– Я шага не шагал без костылей. А теперь восемь шагов. Мне, друг, нельзя без ног. И ты не помогай. Сам пойду. Ты видел, как я шел. Хорошо ведь шел?

– Хорошо.

– Ну вот. А сейчас еще лучше. Потому что отдохнул. Еще лучше пойду.

Я помнил случай из войны четырнадцатого года, описанный в литературе: австриец был смертельно ранен, врачи сказали: «В палату для мертвых».

Пришла похоронная бригада, раненый пошевелил губами, его пока не тронули. Однако к следующему приходу могильщиков солдат успел подняться и уйти. Много лет спустя его отыскал в Вене фронтовой врач. Спросил: «Как вам это удалось? Я до сих пор не верю, что вы живы».

Бывший солдат ответил: «Я повторил миллиард раз слово „жить“. – И он взял длинную иглу и проткнул насквозь свое плечо. – Мне не больно, – сказал он. – С тех пор я натренировался пересылать свои силы и чувства из одной части своего тела в другую».

– Смотри, Большая Медведица! – сказал Доржи. – Очень хорошо, когда звезды! Кажется, что это там кастрюля нарисована точками. В Китае так и называли это созвездие: Пе-теу. А в Бурятии – Конь на привязи. Это потому, что в наших краях с давней поры много лошадей. А по-европейски – Большая Медведица. Древние греки придумали такую сказку... Я в школе ребятам всегда рассказываю сказки про звезды. Была страна Аркадия, был царь Лаокоон. И была красавица Каллисто. Сама богиня Гера завидовала ее красоте. И решила превратить девушку в медведицу. Узнал про это Зевс, хотел заступиться, да не успел. Поглядел вокруг – Каллисто уже нет. А вместо нее ходит мохнатый зверь. Зевс и догадался. Жалко ему стало девушку, и он решил хоть как-то помочь ее судьбе. Взял он медведицу и поднял с земли на небо. Это, выходит, не медведица там, не конь на привязи, не Пе-теу, а девушка Каллисто.

Я глядел туда, куда уходили черными острыми клиньями кедры и скалы. Ночь становилась глуше, настороженнее.

– Мне бы ноги, я бы тоже унес Нину. Она тоже Каллисто, – тосковал Доржи. – Когда мы, мальчишки, искали слюды в горах, над нами также были звезды. Но тогда я не знал сказку про

Каллисто. Эти же звезды были, когда я шел на Шумак. В жизни каждому хочется встретить свою Каллисто и унести ее в свою мечту...

Доржи дополз до ближайшего дерева и, опираясь на него, выпрямился.

– Мне, друг, без ног никак нельзя. Мне еще на Шумак надо, – не то мне, не то дереву доверял он.

Я вышел из-под берега, у меня опять была мысль, что у Доржи связана с неведомым для меня Шуманом какая-то тайна. Нет, не только голубые ели и знаменитые там лечебные источники влекут его туда, а что-то еще, более важное.

Ночь опять раскололась прозрачным и печальным голосом – пела Нина где-то за лесом. Доржи оттолкнулся и, черный, огромный, пошел падать от дерева к дереву, пошел навстречу своей Каллисто. Черный силуэт меж деревьями был похож на черные всполохи.

«Как верить, как желать». Я глядел в темноту, и во мне тоже оживала потребность борьбы.

12

Мы с Васей отправились на охоту. Точнее, Вася уговорил меня побродить по горам, поискать виды для его эскизов. Вооружились переломкой – два ствола шестнадцатого калибра. Это на всякий случай. Густо пахло смолой. В лощинах выстилался жесткий голубичник. Деревья трудно стонали.

Ночь застала неожиданно. Мы увидели шалаш и остановились на ночевку.

– Пойдет, – одобрил Вася, осмотрев шалаш. – Если дождь, то не все капли будут наши. Кто здесь жил? А по мне хоть сам Будда. – Вася достал из карманов сухари, масло.

Мы наломали сушняку, надрали бересты. Вася обшарил себя и вдруг, разочарованный, притих. Он держал перед собой в ладонях размокшие и раздавленные спички.

– Да хоть закурить бы.

Где-то рядом проколотил по сухой лесине дятел, озабоченно, будто деревенский сторож, после него стало дремотно в лесу. Дятел обозначил ту грань, на которой кончился день, за которой вступила в свои права ночь.

Меж деревьями спустилась прозрачная синь. Земля шла пологими уклонами. И небо одной своей частью оказалось ниже нас, оно было тоже синим, там осторожно загорались звезды. Брызнула веселая горихвостка: «вьюить-тик-тик, вьюить-тик-тик». И звенела до полной темноты, голос ее становился гуще и крепче.

Такой распорядок в лесу: вступление ночи должно сопровождаться этими «вьюить-тик-тик».

Стало грустно: мы с Васей сидели спина к спине: так было теплее. Я думал о том, как сделать, чтобы, придя сюда не на час и не на сутки, а навсегда, человек не нарушил бы своим приходом всего этого, что вокруг. Все было и там, где Иркутск, и где Новосибирск, и где Красноярск, и где Москва... Но нет этого даже уже и там, где лишь пролегла дорога. Природа – она вянет, если в нее врезается бетон дороги. Спина у Васи подрагивала, он отдувался от мошки, а я прикрывался плащом, натянув на голову. И дорога мне представлялась ножом, бесцеремонным и дерзким. Я видел, как она входила в сочное тело природы. И привиделись голубые птицы, нет, это люди, за спиной у каждого голубой пропеллер, они парили над кедрами, садились на тихие поляны. Они строили дома так же ловко и осмотрительно, как это делают осы, ничего не нарушая в природе, лишь осторожно и продуманно дополняя ее. Под окнами осталась сочная жимолость и багульник остался, все так же пахнет хвоей, пижмой и грибами, и елки острыми шлемами стоят... И подумалось мне, почему не эти люди ставили Красноярск, Новосибирск, Дивногорск, Братск? Почему не они сейчас ставят новые поселки в тайге?..

– А ведь кедр в городе, говорят, не приживаются. Верно? – спросил Вася.

– С одного кедра берут мешками орехи, – сказал я.

– Ага, – согласился Вася, дунув в темноту на комара. Он чертил перед собой пальцем воздух, и тут, оказывается, рисовал какие-то абстракции.

Красные сосны давно перестали быть красными, они обступали нас сочными черными силуэтами, могучие, в два обхвата, а теперь, когда их обложила ночь, они выглядели совсем великанами. Только березы еще смутно светились. Лесом овладевала таинственная насто-роженность. Кто-то стал бить землю, и земля отдавалась испуганным стоном: «тох-то-тох!» Потом из темноты налетел трубный рев. И тайга скинула с себя оцепенение. Вася взвел курки.

– Говорят, какой-то зверь есть, что если порох почувствует, то глаза его кровью наливаются, и тогда ему все нипочем, – шепнул Вася, испуганный. – Такого зверя надо наверняка бить картечью, в упор и сразу с двух стволов. Понял?

Звезды в той части неба, которая была ниже нас, под склоном, висели яркие, крупные, как яблоки. Очень сочные и очень яркие. Я таких никогда не видел. Влажные, будто на них легла ночная роса; они висели там в бесконечном множестве, и свет от них истекал зеленовато-синий, желто-розовый. А над шалашом, в самом поднебесье, в своей верхней части, ночь теперь была фиолетово-мертвенной.

Неведомый зверь ревел раздраженно и угрожающе, он пробежал совсем рядом. Мы его не видели в черном одноликом лесу, но слышали, как хрустели мясистые еловые ветки под его тяжестью, как дышал он, хрипло, надсадно. И, после того как все стихло, еще долго держался запах потной шерсти.

Я обернулся и увидел, что звезды не везде яркие и крупные; в той стороне, где пропал зверь, они были маленькие, совсем неустойчивые, трясущиеся, жидкие, как искры. А может, это были не звезды, а что-то еще?

Чудилось, что к нам должно выйти что-то неясное, смутное, огромное и беспощадное; выйдет, чтобы оправдать те обязательные страхи, которые испытываешь, войдя в ночной незнакомый лес.

А с той стороны, откуда наносило медвяными ароматами, текла обманчивая тишина. То, что она обманчивая, мы поняли позднее, когда пошевелились. Под самым нашим шалашом снова забила земля: «тох-тох-тох». Это зверь неслышно подошел и затаился, в чем-то не совсем уверенный, и, сомневаясь, выяснял свои подозрения, стоял за теми вон широкими кедрами.

На рассвете дважды крикнула кедровка. Смутно, как через воду, проступила зелень. Я заметил, что у Васи дергается верхняя губа, хотел сказать ему, что у него дергается губа, но не сказал. Лес освобождался от ночи.

Перед нами была песчаная гора, похожая на голову желтокожего человека, лысая, лишь редко стояли на ней коротенькие суковатые кедры, было похоже, что кедры растут где-то в глубине горы и наружу выходят лишь одними вершинами. Тугие зеленовато-коричневые кочки, похожие на капусту в миниатюре; одиночные кустики дикого гороха, уже посохшего и звяжущего стручками на свежем ветру...

Из норок, узких и глубоких, выглядывали жирные большеголовые кобылки с красными крыльями, обеспокоенные нашим приходом. Кобылка если поднималась, то выписывала такие кренделя, с таким треском, словно вертолет.

Мы догадались, что находимся у знаменитой святой горы, куда много веков назад приходили склонять свои лбы многие монгольские воинственные ханы, перед тем как идти в походы.

Вон там, левее, у подножия, должен быть дацан (молельня, храм). Мы пошли туда, и над лесом поднялась деревянная каланча такой формы, что, если бы перевернуть и поставить ее вверх утолщенным концом, она стала бы похожа на толкушку. Там были огромные деревья, уже

наполовину высохшие от старости и, очевидно, помнящие то великое событие трехсотлетней давности, когда буряты добровольно объединились с Российским государством.

Узкие, глубоко выбитые в земле тропы вели отовсюду, сходясь веерами, прятались под низко свисающие ветки.

Пирамиды, сложенные из необработанного камня, были усыпаны металлическими деньгами: крупные десятикопеечные сибирские монеты времен Екатерины II с изображением не то лисиц, не то песцов; темные полушки с двуглавым орлом; медные копейки чеканки 1711 года; серебряные копейки 1699 года со всадником и копьем; здесь были и ромбообразные металлические знаки со странной надписью: «Пошлина на бороду сдана».

Меж пирамидами деревянный навес. Под навесом длинный стол, чугунные котлы, глиняные тарелки и ворох водочных бутылок. В отличие от христианского попа, который в совершенстве своих таинств прибегает только к слабым винам, таким, как кагор, суровый бурятский лама считает, что таинства выйдут лучше, если свою паству подкреплять водкой, а то и спиртом.

По каким-то определенным дням сюда сходятся верующие из очень отдаленных улусов; несут в жертву богам деньги, продукты, какие частью съедаются, а частью сжигаются на каменных пирамидках, а на деревья привязывают ленты – красные, синие, зеленые, желтые, фиолетовые... Время и непогода смывают с лент краску, они становятся одинаково грязно-серыми, и когда идешь по тропе, они шаркаются о твое лицо.

Дверь дацана замедленно раскрылась, и каково было наше удивление, когда на крыльце увидели мы красноярца Леонида Масленникова, того самого Масленникова, который подбил меня на путешествие по Забайкалью, а сам улизнул, не дождавшись. В глубине дацана на полу сидели жена Масленникова и дочь.

Мужик сонно, с подвывом зевнул, протер опухшие глаза. Он зарос от уха до уха, как папуас.

Оказалось, Леонид себе для жилья облюбовал как раз это святилище.

– А что? Хорошо! Рыбу удим в том вон разливе. Дочка тоже научилась, тоже удит. Ничего, Будда не обижается. Мы с ним приятели, это он т-только так, для виду, зло на меня смотрит... – мягко заикаясь, говорил Масленников. – А теперь вот вы пришли, хорошо, вместе будем. А я тогда в Красноярске ждал, ждал, да и думаю: чего ждать, собрался да и двинул в эти места. А Будда – свой парень...

«Ну и ну, – подумал я. – Чу-удак!»

В дацане горели свечи. Со стен в самых невероятных сочетаниях красок угрюмо и деспотично глядели боги. По стенам же развешаны старый дырявый бубен, лук, колчан со стрелами, пучок орлиных перьев...

Леонид хохотал, когда узнал о нашем ночном приключении. Оказывается, за чудовищного зверя мы с Васей приняли обычного обитателя наших лесов – козла.

– Я их тут солью подкармливаю. С-солонцы устраиваю. Для зверей надо бы сквозь по тайге делать такие солонцы. Вот. Н-на рубль взял ее, соли, перемесил с землей, облил водой – и вот готово...

Прокричали бекасы, прыгающие на бледно-розовых камнях среди реки. В это время из лесу вышел старик с берестяной кошелкой. За ним летели две крупные вороны, вытягивая черные лапы.

Старик остановился возле костра, разведенного Масленниковым, звучно потянул ноздрями воздух, смешанный с запахом лука и дыма, расправил бороду, высморкался. Его экзотический вид – берестяная шапка, берестяные наколенники – привел Васю в восторг.

– Это гениально! – сообразил он, хватаясь за карандаши и блокнот.

Но старик хоть и не смотрел в сторону Васи, как-то очень скоро определил, что его рисуют; цепкие глаза, едва приметные в бурых зарослях, остро и холодно блеснули, он выставил перед собой с растопыренными пальцами руку.

– Не-е надо.

Сказал певуче и властно, растягивая на «е». Он снял со спины свою берестяную кошелку, наполненную с верхом тяжелыми, золотисто просвечивающими кристаллами. Потом стал мять желтый брусничник, притопывал с приседанием. И берестяные наколенники его вступивались тугими желтыми мячами.

Это был собиратель листовничной смолы, скупаемой лесхозами.

– Как заработок-то? – спросил Масленников у него.

Старик основательно располагался на земле рядом с кошелкой и, должно, не услышал вопроса.

– Деньги-то платят как, ничего? – снова спросил Леонид.

– Деньги – не жизнь, – подняв голову, отвечал старый промысловик, голос у него звонкий, и указал руками на стороны, как бы захватывая и высоту неба и глубину зеленых лесов. – Жизнь – вот она, вот! В другом месте не ищи ее, нету ее в другом месте. С деньгами аль без денег, все одно нету.

В полночь небо над ущельем стало белесое и воздух тонко посеребрел. Я не мог сообразить, откуда это серебро в воздухе, потом догадался: сегодня должна быть полная луна, и она проходит где-то за лесом. Думалось, что когда-нибудь на луне мы будем жить, и тогда таинственного в ней ничего не будет. Там есть кристаллизованная вода и высокое дневное тепло.

А река шла черная, барахтающаяся. От нее доносилось завывание «куриного бога», но шум переката смешал и сместил все звуки. Я пошел туда, где должен быть этот «куриный бог», и шел осторожно, напрямик, по воде, вздрагивал каждый раз, как волна ударяла в колени.

«Куриный бог» обнаружился провисшим меж камней, и вода в отверстие проникала вместе с завихривающимся воздухом.

Я понял, что уровень в реке продолжает падать. Было впечатление, что кто-то плачет в ночи.

Вася на всякий случай разбудил Масленникова.

– Что тебе? – отозвался тот встревоженным шепотом.

– Слышишь, кто-то плачет. Или нам чудится?

– А? Кто плачет?

– Кажется... где-то...

Леонид прошел в глухую темноту, чиркнул спичкой, розовый язычок качнулся и, прежде чем погаснуть, раздвинул темноту между кустов.

На земле животом вниз лежал промысловик. Плечи его и спина вздрагивали.

– Что с вами, вам помочь? – спросил Масленников, склоняясь. – Вы больны?

Луна вышла из-за леса, весь склон и кустарники на нем стали белыми, а каланча над дацаном загорелась оранжево. Старик уже сидел, подтянув к себе колени.

– Может, вам чаю вскипятить? – предлагал Масленников, сгребая в кучу сухие ветки.

– А водки, случаем, нету? – промысловик в надежде поворотил бородатое лицо. – Душа, понимаешь, огнем взялась. Аль ты не понимаешь? Тебя жизнь еще не крутила? И у твоих дружков водки нету? Тогда ступай, ступай... Чаю я и без тебя налажу. Ступай!..

Утром под той сосной, где отдыхал старик, мы нашли остывшие головешки костра, а несколько в стороне, среди брусничника, кошелку с кусками золотистой листовничной смолы. Старика же самого не было. Он не появился ни тогда, когда мы сели завтракать, ни тогда, когда к дацану стал стекаться по неприметным лесным тропам какой-то очень угрюмый молчаливый народ, больше верхом, без седел, на низкорослых гнедых лошадаках.

– Настоящий колдун! – восхищался Вася, он уверял, что если бы старик ему попозировал, то рисунок проскочил бы на всесоюзную выставку; таким образом старик, исчезнув, лишил нашего Васю возможности прославиться.

Экзотический старик, однако, ушел не совсем. Он объявился на другой день, к обеду, возле ванного корпуса. С ним были два парня и пожилой согнутый мужик, у которого лицо желтое, узкое, сморщенное, как осенний лист на ветле. Бородатый промысловик и его пожилой компаньон, оба пьяные, сели под березой, поставили на пенек поллитровку, один другого принялись тянуть за пуговицы на пиджаке и надрывно спрашивать:

– Жизнь, в чем она? В чем радость-то? У-у!..

Парней же привлекли Васины рисунки, развешанные на сучках деревьев вокруг палатки, они подошли, разглядывали. Красная река на картине с зелеными рыбами им не понравилась, зато портрет Нины с зелеными волосами вызвал у них одобрительный хохот. Пожелали с Васей познакомиться, а заодно и со мной. Познакомились. Одного, который постарше и покрупнее торсом, звать Виктор, другого, с белыми смеющимися глазами, Анатолий, мой тезка, оба из сибирского городка Шелехово.

– На Шумак у нас цель, – признался Анатолий. – Ищем, кто знает туда путь. Вы там не были? Не знаете дорогу? Нас вот дедок собирался туда провести, да вот, видим, загулял...

– А что там, на Шумаке? И... что это такое – Шумак? – притворился я, что вовсе ничего не знаю, ничего не слышал о нем ни от Нади, ни от Доржи, ни от кого другого.

Шелеховские парни о той местности, в какую направлялись, знали очень мало, но то, что знали, они высказывали нам с Васей взахлеб, размахивая руками, перебивая и подталкивая один другого, чем сразу же взволновали и убедили легковерного Васю, который тут же побежал искать бурятку Надю, чтобы уговорить ее быть нашим проводником.

На закате солнца, когда воздух в Саянах очищается и далекие горы приближаются, проступая в оранжево-алом небе, мы стояли на высоком каменистом берегу Эхэ-Угуна, вглядывались: где он там, тот перевал, который предстоит нам преодолеть на пути в заманчивую долину?

13

Бурятия. Страна, почти не знакомая мне, неведомая, она все больше волнует и манит своими серо-синими далями.

«Что за теми вон горами?» – думал я и спрашивал об этом бурятку Надю.

Впрочем, так я спрашиваю и в Красноярском крае, где живу уже столько лет, и в Новосибирской области, где родился и вырос. Такая уж она, наша Сибирь, сколько ни живи в ней, сколько ни путешествуй, а все равно не изведаетшь и малой доли из ее пространств. А как хочется, манит изведать!

Бурятия в моей фантазии встала круглая, как глобус, почему-то с малиново-красными боками. Где-то города, где-то степи, а здесь...

Я шел за буряткой Надей, она шагала широко, по-мужски, решительно и вместе с тем осторожно вдавливая свои бурые, пропитанные звериным салом сапоги в тряскую землю. Мы шли по целинному месту, хотя Надя уверяла, что мы идем по тропе, лишь после нескольких часов ходьбы Надя остановилась и предупредила нас:

– А теперь тропа ушел. На стороне ушел. – И указала рукой туда, где вековые деревья были похожи на безжизненные колонны из песчаника. – Туда тропа ушел. Теперь тропа нету.

Земля, в которую я запустил руку, была мягкая и жирная, пахучая, как сдобные лепешки, она и отрывалась слоями. Через густые кроны деревьев сеялось солнце. Багульник ронял фиолетовое пламя своих лепестков.

То, что «теперь тропа нету», я определил по тому, как переменялось поведение нашей проводницы. Если прежде я видел лишь ее черный тяжелый затылок над сильно распухшим рюкзаком, то теперь я видел, как выворачивалась из-за этого рюкзака то одна коричневая скула, то другая; Надя внюхивалась в воздух. Во всем же другом я не уловил перемены: все так же пружинила земля, так же густо стелился жесткий брусничник, такие же валежины...

Мы шли на Шумак. За мной шел Анатолий, слабосильный, он с трудом держался под зеленым мешком, давившим на его спину. Парень, перегнувшись, хватался за траву руками, по-птичьи раскрыв рот. Когда я оборачивался, чтобы проверить, все ли там идут (последним, шестым, шел долговязый Вася), мне казалось, что Анатолий сделает еще несколько шагов и рухнет, задавленный своей ношей. Но едва мы делали привал, как этот парень начинал весело подтрунивать над своим другом Виктором, тоже, как и он, больным язвой. На Шумак они идут пить там воду.

– Ну, лошадка, как? – смеялся Анатолий. – Развалины в тайге свои не оставишь? Капитально, натошак.

– Рыло, – благодушно отозвался Виктор, ширококостный, сутулый. Природа готовила Виктора в богатыри, но где-то когда-то между могучими костями порвалась связка, и теперь Виктор, облысевший, напоминал дырявый шалаш, продуваемый ветром.

– Вылечу вот свою язву – и снова буду парнем что надо, – мечтал он. – Не таким шкетом, как этот вот мой друг.

– Копытообразное ты! – парировал Анатолий и хохотал, закатывая белые глаза, а зубы у него желтые, щербатые, и тут же начинал приставать к Васе. – Ты, тюлень, сейчас ты два мешка потащишь, мой и свой. Капитально.

– Ну да, – терялся Вася, не зная, сердиться ему или нет за то, что его так называли.

– Потащишь! На, бери. Подержи его, Виктор, я сейчас ему навьючу. Натошак. Подержи! Эй, эй! Куда ты! Хе-хе! Как в кино.

И тут же, без перехода, Анатолий начинал весело рассказывать, будто анекдот какой, о своих взаимоотношениях с женой:

– Врач мне сказал: не ешь кислое. Ладно, думаю, не буду. Прихожу домой и говорю ей: «Врач не велел мне есть кислое». Подходит обед. Она ставит на стол щи. Пробую – глаза лезут от кислоты. «Я же тебе сказал!» – «Ну, сказал», – соглашается. А утром суп с томатным соусом еще кислее... Умора! А как в отпуск поехал, так за порог все бежала и кричала: «Хотя бы там провалился где, хотя бы утонул, хотя бы медведь задрал, хотя бы язва тебя сглодала совсем!» Веселая баба. Хе-хе! Как в кино. Любит, значит.

– Это называется «я тоскую по тебе, друг», – отметил Леонид Масленников, развалился на душистой земле. По черному заросшему лицу Леонида и по груди его солнце рассыпало желтые пятна, он самодовольно шурился.

– Капитально! – подтверждал Анатолий, почесывая за ухом. И нам неясно было, шутил он или правду говорил; его вообще не разберешь, где у него сочинение, где правда. Этот чудак-коватый парень первым из нас раскусил Васю, поняв, что у Васи все мысли и слова подчинены одной цели: немедленно производить эффект. А поняв это, он не упускал случая, чтобы не поиздеваться над незадачливым студентом.

– Ты Тюлькин сын.

– Почему Тюлькин? – не понимал Вася. – Кто такой Тюлька?

– Ты Мотькин сын, – уточнял Анатолий.

– Почему Мотькин? Кто такая Мотька?

– Мотька у нас в Шелехове пожарником работает, на каланче стоит. А Тюлька ее любовник. Как в кино.

Вася, сбитый с толку, терялся, становился каким-то маленьким, но в нем бушевало неистребимое честолюбие, он пытался сострить:

– А морж, между прочим, морское животное. – И снова распрямлялся.

Васю уже никто в Ниловой пустыни всерьез не принимал, тогда он отыскал юрту бурят-стариков и там нашел то, чего ему не доставало. В той юрте до упаду хохотали, например, над тем, когда он выставил вперед свой ощерившийся ботинок, спросил: «А от дыр тут источников нет, чтобы помогло?» Ну а после того, как Вася на глазах у всех углем нарисовал на

стене юрты медведя, буряты перестали замечать нас рядом с Васей и носили ему куски вяленой сохатины, жертвуя, как загадочному духу.

– Кобзон пел, когда в Сибирь приезжал. Песня такая: «Я тоскую, подруга», на слова поэта Зория Яхнина. Слышали эту песню? – спросил Вася, очевидно, желая блеснуть своими знаниями.

Мы, конечно, не слышали этой песни, но знали, что автор ее – наш бородатый друг Леонид Масленников, и, переглянувшись, воскликнули:

– О, здорово! Чудесная песня!

– Особенно вот это место, ну, как его, ну, где про самую тоску-то, – уточнил балагур из Шелехова и ни с того ни с сего обратился к своему другу Виктору: – Иду на спор: тебя бы и по первому разряду не взяли в нашу бригаду. У тебя шестой разряд? Но у тебя же руки кривые. Как там, тебя бригадиром избрали, не соображу.

Виктор отвечал спокойно, уверенный в своей правоте:

– Мои руки ювелирную работу чувствуют. Понял? А вот тебя бы я уж наверняка близко к своей бригаде не подпустил, а если бы уж принял, то лишь затем, чтобы пол подметать.

– Хы-хы-хы, – ржал Анатолий и над самим собой и над всеми нами.

– Тебе и тебе, – указывал он на меня и на Васю, – повезло чересчур. Если бы наш дедок не загулял, гад он эдакий, я бы ему шепнул, чтобы вас с собой не брать. Сомнительные вы люди.

– А дед твой не сомнительный?

– Дед – не-ет. Дед железный. Он наш, шелеховский. На нашей улице живет. Каждый год женится на бабках, а потом от них в тайгу бежит. У нас с ним дружба – водой не разлей.

– Проглоти язык, – советовал Виктор, ища повод, как бы позадиристее ковырнуть своего расхрабрившегося приятеля. – Экономь силенки, а то вытянешь ножонки. На полдороге вытянешь. Они, ножонки твои воробьиные, уже вон трясутся.

– Это ты про себя? – Вдохновляясь, Анатолий весело поворачивал свою продувную, в полосках просоленного пота физиономию.

Доржи, когда мы уходили из Ниловой пустыни, напутствовал нас: «Взойдете на ту гору, что сразу за рекой, будет там видна другая гора, синяя. Чтобы не ошибиться, надо на часы глядеть. С часу до двух на ту гору тени пойдут. По тени и приметить гору. Идти до той горы два дня. Она очень высокая. А перелезть через гору и еще идти полдня по узкой долине...»

Это Доржи говорил о каком-то своем, более коротком пути, которого Надя не знала.

Мы тогда с Надей вышли на ту гору, что сразу за рекой, напротив наших палаток, увидели другую гору, синюю, она уходила под самое небо, терялась своей вершиной в облаках; мы сразу догадались, что это та гора, о которой говорил Доржи, потому что время было полуденное и тени шли в ту сторону. И Надя сказала, ткнув пальцем в свою тень:

– Вот туда пошел.

А между синей горой и нами лежала огромная чаша, наполненная безлюдной тайгой, диаметр этой чаши не измерить и сотней километров.

Тем ли, коротким ли, путем вела сейчас нас Надя, я не знал, потому что она молчала.

Нам было известно, что в первый день пути мы должны пересечь горную реку Эхэгэр. Мы готовились и волновались, звучное название ассоциировалось у меня с чем-то грандиозным, как обвал. Шум, сперва похожий на скрежет железа, потом перешедший в грохот, дошел до нас через таежные заросли, мы ожидали увидеть долину и пенный поток, но минуло еще около часа, пока мы вышли к реке. Поток оказался нешироким, заваленным огромными белыми валунами, мы отыскивали даже такое место, что смогли перейти, не замочив ног, – перекинули с камня на камень сухую лиственницу. Мы перестали бы уважать эту речку, если бы не следы ее работы, сделанной в горной долине. Будто прошел гигантский канавокопатель с захватом в сотни метров и, вывернув горные внутренности, разбросал тут же. И Надя сказала, что эта

река идет дальше, на ней когда-то дрались два великих богатыря, один стоял там, где синяя гора, другой там, где желтая «голова» Будды, и кидали друг в друга белые камни...

– Большой богатыри были, шибко большой. – Надя поглядела на небо, указав туда рукой.

Ночевать мы собирались в юрте пастуха, та юрта должна нам встретиться на половине пути. Сразу за рекой земля круто вздыбилась, обильно покрытая толстолистым баданом. Надя, едва добравшись до середины косогора, заскользила назад: сапоги без подошв не держали.

– Бабка, на карачки становись, на карачках валяй, – серьезно советовал снизу Анатолий. – Капитально.

Женщина не то сама догадалась встать на четвереньки, не то воспользовалась советом Анатолия, удержалась, а когда мы к ней подошли, она обматывала головки сапог веревкой – для тормоза. На парня поглядела сердито: не любит, когда ей напоминают, что она старуха.

14

На косогоре выдавлены лежанки; свежая помятость травы.

– Изюбры был. – Надя пощупала лежанку. – Утром был.

Солнце исчезло неожиданно, будто кто снял его с неба. В лесу стало сине. Эхэгэр за нашими спинами шумел острее, хотя остался далеко. Мы поняли, что, ночь наступит скоро, на юрту пастуха рассчитывать не следует, мы заторопились, пока светло – подобрать место для ночлега. Таким оказалась лощина с множеством черного сухостоя.

Красные отсветы жаркого костра плясали по фигурам моих спутников, рассеявшихся вокруг на земле, они походили в темноте и в фантастическом освещении на гномов. Анатолий снова рассказывал свои шутки, всем было смешно. Но смешно не столько от того, что он рассказывал, сколько от того, что он, рассказывая, сам от смеху катался по траве.

– Вспомнил! Случай вспомнил. Пошли мы с соседом шишковать. Сосед трусливый, вроде Васи. Он полез на кедр. Я остался с мешками внизу, собирать шишки. Глянул я вверх – и дух у меня захватило. Капитально. Там-то медведь, на кедре, шишки собирает. Понятно, мой сосед не видит его, к нему все выше забирается. Медведь тоже ничего не видит... Как в кино!

Анатолий захлебывался хохотом, не мог дальше рассказывать. Закончил рассказ Виктор:

– У того мужика острая палка для сбивки шишек была. Он обеленел от испугу, когда увидел над головой... Ширяет медведя в зад палкой, медведь выше лезет. Мужик опять его ширяет. Мужик-то нельзя назад, на земле-то зверь мигом салазки завернет. Он – за медведем, и все ширяет. А тот лез, лез, медведь-то, вершинка обломилась и – хрясь!.. С тридцатиметровой высоты. А мужика снимать пришлось, руки окостенели, так крепко держался с испугу за дерево...

– Же-еребчи-ина! Ну и же-еребчи-ина! Ай да ма-аладе-ец! – опять хохотал Анатолий. – А медведю ведь ничего, удрал.

– В чем разница между человеком и зверем? – спросил Виктор.

– Смотря каким человеком. Если себя имеешь в виду, то зверь отличается культурностью. Хы-хы! – раскатился Анатолий и на всякий случай отбежал в сторону.

– Лапоть. – Виктор не рассердился. – Ничего не соображаешь. Человек на горбушке унесет себе пропитание на месяц, а зверь унесет?

Путь лежал по зеленой долине, стесненной с обеих сторон горными грядами.

Бесформенными ослепительно-белыми заплатами на зеленом лежали снега.

Было жарко, солнце поливало почти отвесными лучами, и лучи эти казались тугими, они упирались в наши затылки, жгли через рубаху и как будто звенели.

Мы всходили на снежные пласты, это был скорее белый, как сахар, лед, чем снег; миллиарды кристалликов, твердых и хрупких; в них, в каждом, жило по солнцу, и эти миллиарды солнц плавляли наши глаза.

Мы зажмуривались, падали на живот и пили снежную воду, тяжелую, как свинец, и матово-темную. Леонид Масленников говорил, что от нее человек молодеет, твердеют мускулы, становятся как железные. Он фотографировал нас в разных положениях и сокрушался, что у него не цветная пленка, тогда бы снег вышел очень контрастным на фоне бурого, зеленого и желтого.

И рядом со снегом рос низенький колючий кустарник с крошечными листиками.

Юрту пастуха мы увидели на следующий день. Сперва увидели дым, потом услышали лай собаки, а тогда уж как-то сразу увидели за низкорослыми деревцами все: жердяную изгородь, пятнистую крутобокую корову, табун крошечных человечков, бревенчатый желтый сруб и мужика с топором на углу сруба.

– Ты, мужик, их пасешь или еще кого? – спросил насмешливо Анатолий, пересчитывая вслух крошечных человечков. – Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Капитально! Хы-хы-хы! Я представляю!

– Еще есть. – Мужик улыбался, он слез со сруба, твердо и уверенно встал на землю, длинноногий, тонкий, он оказался очень высоким, молодым.

– Все твой?! – ужаснулся Анатолий. – Натощак!

– Да чего ты зарядил свои идиотские «натощак» да «капитально»! – воскликнул Виктор.

– Есть еще, – повторил мужик, с достоинством оглядывая свое семейство.

Он стоял прямо и гордо на бугре перед смолистым пахучим срубом; мне с полулежачего положения казался он естественно вписанным в сине-зеленый горный пейзаж, на нем расстегнутый пиджак, обнаженная его грудь перевита, как прутьями, темными мускулами.

Земля подо мной была сухой и прохладной, я устало растирал занемевшие плечи, на них так и остались глубокие бледно-фиолетовые надавы от ремней рюкзака.

В рассказе Уильяма Сарояна «День на ферме» есть мальчик лет десяти – двенадцати, житель большого английского города. Он оказался у дяди на ферме, его там кормили «густыми сливками, молоком, яйцами, сыром, хлебом, овсяной кашей, оладьями, желе, вареньем, сливами, горячими виноградными листьями с начинкой из риса и молодого барашка, розовым лимонадом и прочими вещами, потому что так заведено на ферме». Мальчик ходил по саду, видел, как его кузены, такие же мальчишки, как и он, копали лопатами землю, проводили орошение, у каждого из них свой участок, свое задание от родителя, делали они свое дело очень охотно, сами выращивали «добротные персики, мускатный виноград, гранаты, сливы, арбузы, дыни, помидоры». Вечером ужин – и стол опять трещал от обилия разной вкусной пищи, и все опять ели долго и много. А за окном кричали лягушки, за озером уйма перепелов, зайцев, роговых жаб, ястребов... Мальчик думал о том, читают ли в этом доме книги, а когда выясняется, что не читают, хотя все его кузены ходят в школу, он находит все это странным, а житье своих кузенов жалким, скучным и он бежит снова в город, где у него есть «веселое, настоящее дело» – продавать на углу газету...

Умение выращивать фрукты и овощи, любить землю, любить природу вместе с ее жабами и лягушками, зайцами, перепелками и ястребами и даже любить работу... Разве это не главное дело?

Я глядел на сухощавого пастуха, на его многочисленное семейство и думал. Вот и эти детишки тоже любят природу, любят землю, любят работу. Но любят все это по-иному, потому что земля эта дает им не только вкусный пирожок, а и большую мечту...

Наша Надя тем временем вскипятила молоко.

Молока каждому пришлось по большой кружке, оно очень душистое, густое, такого молока никто из нас, из городских, давно не пробовал. Мы, подобрев и размякнув, говорили об этом громко, пастух слушал, удовлетворенно качал шишковатой стриженной головой, что-то по-бурятски коротко говорил Наде, та начинала тоже подергивать головой.

Когда же мы собрались идти дальше, пастух остановил нас, предложил нам отправиться налегке, до той вон горы, до нее еще километров около двадцати (около двадцати!), а вещи наши он следом подвезет к перевалу на лошадях.

Горные хребты слева и справа тянулись грядями, а впереди они смыкались, образуя малое полукружие, тупик. И в том месте, где они смыкались, нам предстояло взбираться на высоту (три тысячи метров с гаком!). Взбираться туда, где между каменными вершинами и небом нет никакого просвета. И нам, чтобы пройти на противоположную сторону гор, очевидно, придется пробивать головой само небо.

Мы шли быстро, а перевал подвигался к нам медленно, хотя давно казалось; что до него не больше двух-трех километров. Горы, как и море, скрадывают расстояние. И чем ближе и явственнее становилось перед нами это уродливое создание природы, застрявшее одной стороной где-то в небе, тем властнее вселялась в нас робость. «Это аж туда взбираться!» У каменистого, сине-черного подножия, на лобастом предгорке, мы остановились.

Справа лежал многотонный снежный ломоть, а под ним бился о камни звонкий ручей. Мы топили свои ноги в кучерявом лишайнике, давали отдых и глазам, останавливая внимание на желтых и фиолетовых стаканчиках цветов, росших среди камней.

15

Перевал взяли без происшествий, однако у меня такое ощущение, будто тело мое теперь на всю жизнь останется усталым и выжатым.

Когда я оглядываюсь, чтобы проследить там, в пустой синеве неба, свой недавний путь, то голова кружится. Невозможно поверить, что мы со своими тяжелыми мешками одолели такую высоту.

Первым туда поднялся Анатолий, он кричал «ура» и, ошалелый от бессилия и радости, тряс над собой кулаками. Но прежде догнала нас туча, синяя, как ультрамарин, и гнилая, она вылила на головы цистерны холодной воды. Молнии метались осатанело, сбоку, позади, под нами, их можно было достать рукой, если протянуть руку, но мы, сжавшись, насколько возможно, чтобы стать меньшей мишенью, чтобы у желто-красных стрел было меньше вероятности попасть в нас, мы, сжавшись и нагнув голову к груди, старались укрыться под своими брезентовыми мешками.

Передо мной шел Леонид Масленников, и после того, как ударила очередная молния, почувдилось мне, что в воздухе запахло палеными его волосами.

На самом перевале уже не было ни грома, ни пляски электрических вспышек, не было и тех упругих ледяных струй; мы стояли внутри самой тучи, непроглядной и липкой.

– Эту вершину охраняет сам бог, – объяснил Вася, ушибленно и простуженно чихая. – Бурятский бог пугал нас. Он посылал стрелы и грохот, чтобы проверить наши поджилки. А наши поджилки будь здоров! В шумакскую долину бурятский бог пропускает только мужественных.

– Это ты о себе? – спросил Анатолий, оценивая жалкую, перекошенную, всхлипывающую физиономию Васи, едва удерживающегося под ветром. – Хы-хы-хы.

Но смеяться никому не хотелось, да и у Анатолия смех вышел хлипким.

Очень к месту тут было настроение поэта:

Все больше, больше будешь одинок,
Друзья, отстав, тебя покинут втайне,
Случайный в скалах встретится цветок,
А люди по душе – еще случайней.
Потом один ты будешь в пустоте,

Навалится безмолвья мир бескрайний,
Покоя нет на снежной высоте...

Вася, встав спиной к ветру, закричал, очевидно, для того, чтобы как-то согреться: «Ура-а! Наша взяла-а!»

– Ну, я же говорил, Тюлькин сын, – определил Анатолий.

Туча легла к нам под ноги и утекала, утекала вместе с прыгающей водой.

Горы в острых бурых шлемах стояли угрюмые и молчаливые.

Дикая горная страна, страна красок! Похоже, что это все из волшебного мира.

Мы глядели, взволнованные и ничтожно маленькие, в каждом из нас было ожидание, что вот сейчас раскроется каменный шлем, распахнется горная, спадающая в бездну складка, и выйдет Кощей Бессмертный... В детстве вот таким представлял я обиталище жуткого Кощея и сейчас поразился, обнаружив большое сходство между миром фантазии и миром реальности.

В каменные ниши на самом гребне перевала чья-то неведомая рука набросала много металлических монет, тут же кучечка полуистлевших костей.

Внизу зеленым глазом мигало в тумане озеро, Оно было зеленым, такого цвета березовый лист в июне. Спуск к озеру лежал через огромную, как площадь, зеркальную плиту, плита почти отвесна, мы спускались юзом, тормозя руками и раздирая в кровь пальцы. Я помнил, как Доржи Домжеев рассказывал, что некоторые буряты, пытаясь проходить сюда на своих маленьких косматых горных лошадаках, спускают этих лошадей на веревках; если же веревки лопаются, животное падает на острые черные зубья. Под плитой, как в пустом серебряном сосуде, билась вода, позднее мы узнали, что в этом месте как раз начинается бурная река Шумак, она проходит через зеленое озеро, а потом бежит, будит дикую долину.

16

Ночевали под кедром, жгли костер. Вокруг – топкое болото, пахнущее гнилью.

Выбирая это место, Надя долго прицеливалась, останавливая свои острые глаза на тучных игольчатых деревьях. Она сказала, что где есть кедр, спать всегда надо под кедром.

Здесь же кедрач встречался сплошь, однако такой широкой и плотной шапки из веток и сочных игл, какая сейчас была над нами, мы в окрестностях не видели. Земля вздувалась холмиком, а на холмике толстая естественная постель из старых перепревших трав и бурой мягкой хвои, и все это как бы просушено на печи.

Пастух-бурят предупредил нас, что в этой долине нынче много горных медведей.

Я дежурил в паре с Васей с двух до пяти. С вечера же на часах были Анатолий и Виктор. Они вытащили нас, сонных, за ноги из-под дерева, заняли наши нагретые места и тотчас захрапели один другого громче.

Костер остро нуждался в дровах, он, фиолетово-красный, дышал последними вздохами, цепляясь своими вялыми короткими языками за темнеющие угли. Я не понимал, почему мы поленились запастись топливом засветло, и теперь я должен идти в глушь и нашаривать где-то сухие валежины.

Я сторбился. Ночь – словно бочка с черными чернилами.

Чтобы не так дремалось, мы с Васей старались говорить, но почему-то ни о чем не говорилось, кроме как о том, что успел, напутствуя, рассказать нам пастух-бурят. А он рассказал, что в этой долине как-то геологи двух человек недосчитались, после же нашли их останки; о том, что тут погибли четыре охотника и три женщины, направлявшиеся на шумакские источники, – все те же горные медведи встречались им.

– Геологи-то у костра, значит, спали, – вслух, громко размышлял Вася, по нему неистово плясал огонь.

– Да-а, понадеялись на костер, – говорил я. – Наверно, думали, раз костер – значит, зверь не подойдет. А охотников-то как? Эти-то знали, что костром здесь не открестишься. Не вздумали же спать и они.

– С охотниками, должно, другое, – рассуждал Вася. – Не толпой же они охотились. Поодиночке, конечно. К каждому где-нибудь так вот сзади зверь подкрался...

Свистели медведки. Я видел их днем по ту сторону перевала, они похожи на сусликов, такие же бурые и проворные, только шея у медведки помассивнее да голова позакругленнее. Где бы медведь ни был, редко когда его не сопровождают эти маленькие беспокойные медведки. Они бегут с боков, сзади, спереди, свистят, как на пожаре. А медведь-то любит продвигаться в полной тишине, чтобы и ветка не хрустнула, и лист с дерева не упал. Рассердится медведь, рванется в траву, но где там, зверек юркнет и – сбежал. А в следующую минуту с другой стороны голос подает. Тогда медведь коряги выдергивает и бросает, а потом уж смирится и только лапу к ушам своим прикладывает. А зверьки все бегут. За неравнодушие к медведю и прозваны они так.

Отблески огня падали в ночь и выхватывали среди чащи смутные серые переплетения, похожие на решетку. Там крайней от кустов спала Надя, она нервно дергалась и стонала во сне. Вася сидел настороженный, обалделый, вращался, как танковая башня. Между ним и мной сидел желтоглазый Галлю-Олли; выходило, что дежурили мы не вдвоем, а уж втроем. Вася, конечно, не мог видеть моего приятеля Галлю-Олли, тем не менее и ему передавалось то спокойствие, с которым Галлю-Олли взирал на окружающее, передавалось через меня.

Кстати, в Ниловой пустыни я рассказал фельдшеру Володе о том, что меня уже много лет сопровождает добрый дух Галлю-Олли. Володя сразу меня понял, пообещал: «Вот принимаешь ванны – и расстанешься с ним навсегда. Ванны эти крепко подвинчивают нервную систему». К сожалению, Володя несколько прав: Галлю-Олли стал навещать меня реже, а в последние дни не приходил совсем, лишь вот в эту ночь пришел и, озабоченный, сел между мной и Васей. Мне бы не хотелось, как предсказал фельдшер Володя, терять насовсем доброго и бесстрашного духа, ведь я так здорово прирос к нему сердцем и памятью.

Медведки вокруг кричали все тревожнее: из низины, оттуда, где монотонно и глухо шумел далекий водопад, потянуло туманом; воздух, насыщенный сыростью, хвойными и грибными запахами, отяжелел, наливался грузом непонятной тоски и отчаяния, и костер уже не всплескивал беззаботно и резво, а, округлившись, жил плотным желто-фиолетовым комом.

В свисте медведок была какая-то удивительная последовательность: сперва свист шел сдвоенный, это там, где овраг, потом с секундными интервалами шли одиночные свисты слева и справа, затем снова сдвоенный где-то за нашими спинами, а тогда уж одиночные в обратном направлении и слева и справа. У меня вышла догадка, что тут действуют не десятки зверьков, а всего лишь два: один бежит слева, другой – справа, или же идут по кругу, один другому навстречу, а встретившись, свистнут дуэтом и снова разбегаются.

17

Рассвет шел по долине медленно, спускался сверху, как по ярусам. Мы видели перед собой овалы вершин гор, уже политые мягким желтым светом, они были рядом, в сотне метров, вернее, их подошва была рядом, сразу за речкой, а сами вершины тяжелыми валами восходили в призрачную синеву и там, в преднебесье, грозно и молчаливо шагали в необъяснимый синий мир сказок.

Мы подстрелили десять ку (каемся – браконьерство), и Леонид Масленников смастерил суп. Кедровки по вкусу не шли в сравнение ни с курицей, ни с индейкой, ни даже с рябчиком. Однако беличий окорок побил все вкусовые рекорды.

– А говорят, медведки еще слаще, – хохотнул Масленников. – Подстрелим? Попробуем?

– Фу, фу, фу, – рассердилась Надя, она отказалась есть с нами, морщилась, сидела там же, где спала, подвернув тощие ноги, хрустела сухарями, запивая чаем, потом сняла с колена зеленую толстую косматую гусеницу и протянула Леониду. – Суп. На – суп.

– Чего «суп»? – не понял Леонид.

– Суп. На – суп, – повторила Надя, но широким скулам ее брызнули веселые морщинки.

– Какой суп?

Надя подпрыгивала и дергала шеей, она совала нам зеленого червяка:

– Суп! На – суп!

Мы поняли, что женщина предлагает нам сварить суп из гусеницы, поскольку мы не брезгливы, едим каких-то кедровок.

Тропа ушла в реку, а по берегам настелились глубокие мхи. Мы больше часа барахтались в них, тонули по грудь; мхи вбирали в себя все живое, что проходило по ним, связывая и делая нас беспомощными.

Через мхи пролегли глубокие тропы. Работа зверей, приходивших на водопой.

И в реку спадали тысячи белых и красных потоков; на горных вершинах, в темных распадках таяли снега.

Шелеховские парни Анатолий и Виктор экспромтом выдавали оригинальные проекты заселения этой дикой долины. Кстати, эти парни знают много легенд о Саянах. Высоченная горная вершина Хамар-Дабан в их рассказах – это окаменелый старик, и Мунку-Сардык, его брат, тоже окаменелый дед, а река Джида – это молодая сестра горных великанов, веселая и необычайно красивая...

В Шелехове есть какой-то клуб любителей сибирских легенд.

– В этих местах я себе вроде княжества Сан-Марино устрою, да, – врал Анатолий.

– Чего ты молотишь, необразованный? – спрашивал Виктор.

– И сам бы князем стал. Натощак.

– Неважно. Зачем мне республика, чтобы переизбрали и такие дурни, как ты, отобрали власть? Нет, я монархию обожаю.

– То-то у тебя дома монархия, – хохотнул Виктор.

– Дома – нет. – Анатолий перекачивал улыбочивые белые глаза. – Дома баба моя – Махно. Не уловишь, куда ее курс. Как флюгер. Для начала я бы вон на том бугре построил дом из лиственниц. А потом пещеру бы нашел. Для тебя. Часовым приказал бы: не пускать. А там поехали бы заграничные туристы, с них бы я по двести рублей брал. И стало бы мое княжество самым богатым из всех княжеств на земле.

Высокие зеленые склоны уходили плавными увалами. Из мха прорезались графитовые скалы. Саянский графит – лучший в мире! Воздух над речной долиной, опять же, сине-фиолетовый и желто-красный.

От смешных фантазий шелеховских чудаков мне уже не хотелось смеяться.

Лучшие графиты, лучшие минеральные воды...

Да, не всякий сибиряк знает, что у него под боком те же Эссентуки, Трускавец, Пятигорск, тот же Байрам-Али... И толкуются сибиряки в месткомках, чтобы выклянчить путевку на воды за тысячи километров – туда, за Урал.

В Кыренском аймачном архиве я взял выписку из протокола первого Бурятского съезда Советов:

«Рассмотрев сметные исчисления Бурздрава и его возможные ресурсы в деле должной постановки лечебных заведений, съезд считает своим долгом предложить населению принять на счет фонда самообслуживания:

а) хозяйственные расходы по лечебницам и фельдшерским пунктам (наем помещений, освещение, водоснабжение) и

б) расходы на приобретение медикаментов.

Средства, подлежащие к отпуску на указанные потребности, определены в 7 689 380 рублей денежными знаками образца 1922 г.».

При горькой бедности изыскивались тогда возможности лечения людей.

– Маленько кочевал остался, – сказала Надя, перебив мои размышления. Она указывала на мертвые деревья, стоявшие по пояс голыми, как скелеты.

В тайге всегда так: если кора со многих деревьев снята, то ищи поблизости избушку или шалаш.

Заросли жимолости. Мы ели продолговатые синие плоды горстями; ягоды невкусные, но от них прибавляются силы, а нам, измученным и выпотрошенным, очень были нужны силы.

Меж сочными, густыми и хмурыми кронами старого кедрача метались белки-летяги, и сильнее, чем где-либо, пахло грибами.

18

Путь к знаменитым шумакским водам идет с двух сторон: с запада, где прошли мы, и с юго-востока, через Яман-Гоол. Второй путь длиннее первого, он не так горист, им пользуются охотники осенью и зимой.

Тропы здесь лежат основательно, тяжело, они темно-бурые, глубоко выбитые, перевитые костисто-белыми корневищами. Деревья сами умирают и сами падают, перегнивая среди высоких трав, обогащают собой тряскую, и без того чрезмерно удобренную землю.

Всякий явившийся сюда обязан чем-нибудь украсить ближние к тропе деревья, они теперь похожи на новогодние елки – столько на них всего: от дамских чулок, проржавленных чайников до очковых оправ.

А если не зеленые, а голубые, таких я нигде не видел, почти белые, как в инее.

Все перепутано разлагающимся валежником, остролистой жимолостью, черемухой, смородиной. Бесконечные разливы земляники, брусники, голубицы. Из грибов: рыжик, масленок, сыроежка, сухой груздь...

На кедрах обильный урожай шишек. Летают бурые и совсем черные белки, они объединяются в один табунок с бурундуками и бегут за тобой на расстоянии, обследуют все, где ты останавливался и к чему прикасался, а ночью совершают бандитские набеги на стойбище, воруют все съестные припасы.

Кедровки кричат до хрипоты, грузные, ожиревшие, пробиваются сквозь заросли хвои, будто артиллерийские снаряды. По утрам, когда еще темно и когда лес похож на каменные безмолвные глыбы, кедровки первыми оглашают долину: «Ка-а, ка-а!...» Потом, часам к восьми, у них начинается лет на кормежку, и тогда по всему лесу идет глухое раздраженное шуршание, это трепет их широких крыльев.

Идешь и глядишь в высоту, где шарахаются белки и кедровки, и вдруг из-под ног вертикально поднимается непонятная птица, что-то среднее между рябчиком и сорокой. В ярких красках, с энергичным хохолком, она садится на сук и сидит, спокойная и гордая, в ее глазах почти человеческая осмысленность, к ней можно подойти вплотную, и, очевидно, птица позволила бы потрогать себя, если бы возможно было дотянуться рукой до сучка.

И в это время еще какая-то птица в зарослях застенчиво и печально спрашивает: «Фю-ю, ну, чии вы? Фю-ю, ну, чии вы?» Спрашивает долго. Не выдержишь, расхохочешься и шумнешь на весь лес: «Да красноярские мы, красноярские! Есть и шелеховские!» Птица умолкнет, помолчит, потом забудет, что ты ей сказал, и снова спрашивает: «Фю-ю, ну, чии вы?»

Под вечер, когда узкое небо над долиной еще голубое, а горные вершины еще желтые от солнца, вдоль троп и вокруг стойбища начинает бродить какой-то изодранный клочкастый мрак. И тогда чудится, что вот сейчас высунется бесшумным силуэтом ветвистая голова лося или еще какого зверя и на манер птицы тоже спросит, откуда мы. Той птицы я так и не видел,

хотя несколько раз ходил на ее крик, продираясь через хвойные джунгли; она снималась, перелетала незамеченной и продолжала спрашивать уже где-то позади или в стороне.

Вначале я подозревал, что это та самая хохлатая ярко-пестрая птица, которая стала появляться у нашей солнечной поляны, но когда она проникла через дымоходное отверстие к нам в жилище, попробовала перловой сечки, рассыпанной на столе, и стала нашим постоянным гостем, садилась перед дверью, начинала выщелкивать короткую песню, я понял, что это совсем другая птица. Радостно было, что она подружилась с нами, охотно позировала перед фотоаппаратом.

– Я, может, триста поз этой птахи найду, как знаменитый китайский плотник вырубил триста поз аиста, – хвалился Леня Масленников.

В соседней щелястой юрте жили два бурята, и с ними три женщины, они приехали на лошадях на третий день после нас. Они появились с юго-востока, прошли через воды Яман-Гоола, принесли огорчительную новость: тот западный путь, которым мы проникли сюда, завален снегом, неожиданно выпавшим, и через перевал теперь долго не пройти.

Одну из женщин с черным сухим лицом постоянно рвало, она пила минеральную воду жадно большой алюминиевой кружкой.

– Вылечится? – спросил я про нее у веселого бурята.

– А как же. Много сюда людей ходило. И все лечились. А как же. – Бурят верил непоколебимо.

Буряты от безделья нашли себе занятие: гнули из ольхи луки, строгали стрелы и, обмазывая их смолой, стреляли в шапку, повешенную на еловый сук.

Источники расположены кустами, по несколько десятков в одном месте. Те, которые слева, наиболее живописны и многочисленны. Тянутся вдоль подножия залесенной горы, узкими ручейками стекают в один большой ручей. На этом ручье работают две игрушечные мельницы, смастеренные неизвестно когда и кем, поскрипывают, пощелкивают.

Приходишь утром, еще туман не рассеялся, слушаешь пощелкивание мельницы, а вокруг ни души, только настороженные глаза зверей за деревьями, и вспоминается: «И днем и ночью кот ученый все ходит по цепи...»

Другой куст источников прижился на дне старого, давно высохшего русла, среди серых гранитных валунов. А к третьему кусту источников надо проходить через реку, разветвленную на два рукава. Река стучит камнями. А за ней начинаются веселые поляны с мелкотравьем и солнцем.

Есть и прямо-таки настоящая баня. Бревенчатая избушка с каменкой и полком, с березовым веником для парки, с каменной ванной, а на стене при входе крупно вырезаны фамилии тех, кто поставил эту избушку: Хомаков, Суходаев, Арабжаев, Базаров, Бодеев, Хамнуев, Никоров, Никифоров, Петруев, Парьянов, Халхаев, Поданов, Дымшеев...

В ванну подведены два деревянных лотка, по одному из которых втекает источник, как объяснили буряты, лечащий сердце, по другому – источник, лечащий нервы. Вода, которая вытекает из ванны, образует в ложине зазеленевшую лужу, в ней перепревают водоросли и пиявки, в эту лужу, как нам сказали, садятся те, кто страдает ревматизмом, радикулитом, язвой желудка, да и вообще все желающие долго оставаться молодыми.

Горы постоянно меняются по цвету: то серые с белыми полосами, бурые, синие, а то черные. В зависимости от цвета неба и погоды.

Когда небо чистое – горы почти белые, когда редкая облачность – они синие, а бурые бывают под вечер. Горы, те, что слева, почти ровные, они похожи на хребет гигантского кита, лишь местами прогибаются, будто кто-то продавил их, и тайга решительно взбирается по их кручам.

Горы справа лысые, как шлемы солдат, разрезаются ущельями, из которых вытекают белые водопады. Одна из вершин похожа на голову гиппопотама, высунувшегося из воды. Дру-

гая горная вершина похожа на верблюда: тут и голова, и шея, и горбы, и зад с коротким хвостом-оборвышем. В шейном прогибе по десять раз в день рождались белые туманы, то вспучиваясь до облаков, то мгновенно втягиваясь в ущелье, как джинн в бутылку.

Следующая за «верблюдом» гора ни на что не похожа, мы назвали ее «козерог». По ее склону по утрам паслись стада горных коз, и мы поднимались фотографировать их. Кстати, мы обнаружили странное: козы приходят только после погожего дня и погожей ночи. Если же накануне брызнул дождь, то на склонах никто не пасется, тогда оттуда прилетают сотни крошечных, в полмизинца, птичек и жалобно стонут, облепляя темные кедры.

По утрам, когда горы еще черные, вдруг перед носом «гиппопотама» появляется желтое пятно, оно передвигается на лоб, потом на то место, где должна быть лопатка, а тогда уж, примерно минут через сорок, солнце выйдет над головой «верблюда» и пойдет заливать долину.

Сладкие дурмящие запахи разнотравья – тех растений, которые живы, и тех, которые умерли и преют в бесчисленных лужах, матово блестящих, и тех, которые только умирают, – все это перемешано в густом воздухе, подсиненном, действует, тихо волнует, и у меня впечатление, будто я гуляю по запущенному саду.

У изголовья каждого целебного ручья выложена каменная пирамидка, и пирамидки эти составляют город лилипутов, поделенный на улочки, переулочки.

Пирамиды большие и малые, высота их зависит, очевидно, от значимости источника или скорее от степени, благодарности и радости человека, излеченного этим источником, того человека, который выкладывал свою пирамиду сто лет назад или тысячу... Мне почему-то вспомнилось, как я сидел однажды под вечер на диване в тесном полутемном коридоре редакции «Красноярского комсомольца», разглядывал новую гравюру Головешкина, усложненную горизонтальными и наклонными линиями; ко мне подсел парень лет тридцати, при знакомстве выяснилось, что он архитектор; он тоже стал разглядывать гравюру, сказал, что в ней много литературщины, про такие картины у них говорят: «Война и мир», что в наш век нужны четкость и краткость, как у Пикассо. Я тогда не мог отделаться от ощущения, будто меня оскорбили; меня шокировала та небрежность, с которой было брошено: «Война и мир». Для меня «Война и мир» – предел лаконичности; тому дереву жизни, что возвращено на его страницах, стоять бы, по всем самым жестким архитектурным нормам, в стотомной квартире, а оно размещено в двух томах.

Каменные пирамиды в изголовье «живой воды», сработанные в соответствии с духом, царствующим в долине, для меня сейчас тоже были бесконечной книгой, я ходил, читал и радовался, что еще не добрался сюда тот архитектор...

Через месяц, по возвращении в Красноярск, я в работах ученого-исследователя Ткачука вычитаю: «Источники Ниловские и Шумацкие исключительно ценны... В них редкие элементы...»

19

Отправляясь сюда, в Шумацкую долину, нет, раньше, еще до того как попасть в Нилову пустынь, мы слышали презабавную легенду.

Посмотрите ночью на небо, вы увидите горстку крохотных звездочек. Название им – Плеяды. Их шесть. Они, будто напуганные утята, жмутся. А почему напуганы? Жили когда-то на свете семь братьев-разбойников. Услышали они, что далеко-далеко, на краю земли, живут семь девушек, семь дружных сестер, красивых и скромных. Решили братья украсть их. Сели на коней и прискакали. Спрятались. А когда сестры вышли вечером погулять, братья одну успели схватить, остальные разбежались. Увезли разбойники девушку, но были наказаны за это богами. Превратили их боги в желтые камни и заставили сторожить Полярную звезду. Если ночь темная и чистая, то меж желтых камней на небе видна маленькая звездочка. Это похи-

ценная девушка. А Плеяды – это оставшиеся шесть девушек. Напуганные, они каждую ночь поднимаются на небо, ищут и зовут свою сестренку. А сестренка все плакала, пока слезы все не вышли, и слезы ее падали на землю и превращались в живую воду. Отсюда и минеральные воды пошли на Восточном Саяне...

Эта легенда тогда очень взволновала нашего художника Головешкина, он выходил по ночам из палатки и долго всматривался в звездное небо, искал будто: где это там та бедная девушка? А потом нарисовал он картину, в нее легли мотивы легенды, нам было смешно и удивительно, потому что в физиономиях братьев-разбойников мы узнавали свои собственные физиономии, а девушка, украденная ими, была явно списана с Нины. Мы тогда спорили, картина была какой-то не такой, какие мы привыкли видеть, в ней жили одновременно и сказка, и действительность, и оттого, что это было так, картина поднимала наше воображение и уносила в мир нереального, а когда мы возвращались оттуда, из той неведомой бесконечности, то реальность входила в нас остро, как гвозди.

По ночам я садился на камень у источника, передо мной в черноте, в неясном видении, шелесте и в придавленном гуле плыли леса, я глядел и тоже, как Головешкин, старался отыскать звездочку среди братьев-разбойников.

Мне очень хотелось объединить эту легенду с той, что рассказывал Доржа Домжеев, чтобы и там и тут была лишь одна прекрасная Каллисто, которую надо унести в мечту...

Внизу слабо светилась река, наполненная хариусами; плавилась над ней горы, а на душе становилось все неуютнее и холоднее.

Не спалось. Вчера я тоже принял углекислую ванну, она теплая, с ленивыми пиявками; и тело, разбитое дорогой, млело и как бы растворялось в такой ванне, а вода со звоном падала из деревянного желобка и вытекала где-то там, под бревенчатой стеной, где струились белые ноги.

Я принял ванну, как и все, но мне не спалось, я глядел в ночь, она, черная, затопила землю, и земля вместе с лесами и горами дышала умиротворенно, лишь мои глаза и мое воображение возмущенно тревожили неохватное пространство равнодушной ночи. Я думал о том, что над природой властвуют безудержные стихийные силы и чем безудержнее они властвуют, тем легче и готовнее воспринимаются людьми.

Надя отгородилась кучей веток и спала, зарывшись с головой в мох. Спали и ребята, всем было покойно после ванн. Только у меня не было сна. Где-то скрипели на ручье старые мельницы да напуганно била крыльями по веткам птица, потревоженная разбойничающим соболем.

Каждый прибывший сюда должен, говорят, верить.

Верить тому, что написано на камнях, тому, что передается веками из уст в уста.

Верить в камни, в птиц, в горы, в то, что бурятский священник, умерший здесь и затем выкопанный медведем из могилы, был таким образом наказан богом за какие-то тайные отступления.

Верить в священность происхождения самих источников, долины, деревьев, трав.

И страждущие верят, жертвуя местным добрым духам монеты, вещи, книги и даже игральные карты и водку, оставляя все это в нишах каменных пирамид.

Мы ходили с кружками от источника к источнику, они пробиваются из земли через каждые два-три метра, пахнущие разложившимися организмами, пресные, со множеством вкусовых оттенков.

Мы пили тоже все подряд, по глотку от каждого, и нас скоро стало заносить в кусты...

Надя приговаривала свое: «Дети родить нету, дети родить надо, муж надо». Она склонялась с молитвенным благолепием, у каждого источника оставляла двухкопеечную монету; металлические деньги были набросаны всюду: на камнях, траве, песке, они жертвовались

нашими предшественниками все тому же незримому доброму духу, присутствие которого остро ощущалось в деревьях, в воде, в воздухе.

На серых валунах надписи:

«Спасибо тебе, Шумак, великий и сладкий, благодарит тебя семья геолога Ключко». «За то, что есть на свете такое место, слава богу нашему. Северов». «Если и правда есть на земле место для рая, то оно здесь...»

Среди свежих надписей высечены древние, тибетские, смысл которых нам непонятен.

Как раз это все, то есть вода, простор, воздух, история, – и манит сюда, в эту таинственную долину, Доржи Домжеева, оставшегося по ту сторону перевала, в Ниловой пустыни.

20

Годы спустя я буду вечерами, томясь скукой, ходить по Красноярску и однажды встречу Васю, то есть Василия Леонидовича Колышева, не меняющегося ни внешне, ни в своих тщеславных устремлениях, а потому еще больше суетного и крикливого. Вдвоем мы с ним забредем на улицу Сурикова и окажемся в дворике, заросшем акацией. Нас окликнет женский голос, мы обернемся и увидим, что со скамейки, стоящей у грибка перед песочницей, поднимается элегантно одетая пара, улыбаясь нам и кивая. Нина и Доржи Домжеевы.

– Э-э! Привет бродягам! – бесцеремонно вскинет руку Вася. – Старимся или молодеем? – И тут же сообщит: – А между прочим, дорогие наши бывшие компаньоны, если еще не успели узнать – новость: в Доме художников открывается выставка, посвященная движению бригад котруда, и там мои две картины... Приглашаю сходить посмотреть.

– Ну, это когда-то... а сейчас мы приглашаем вас к себе... в нашу квартиру, – ответит мягко Нина, опираясь локтем на подставленную ладонь мужа; у нее болезнь ног не пройдет совсем.

В квартире за столом, за наскоро собранным, с бутылкой портвейна, ужином Доржи, расплывшийся, с выражением доброты и довольства на мягком лице, будет обращаться к жене властно-повелительно, называя ее Ни-ни, а Нина, укрывшая плечи светлым платком, будет больше прислушиваться к голосам детей, играющих в соседней комнате, да взглядывать в темнеющее окно, на шумную, гремящую тяжелым транспортом улицу.

– Из Ниловой пустыни письма получаем, – скажет Доржи и, протянув руку над моей головой, достанет с полки порванный конверт. – Вот на днях еще получили. Знаете, кто пишет? Володя, главный врач. Да, он теперь по-настоящему врач, а не фельдшер. Заочно осилил диплом. Трудяга. Там уже настоящий, со всеми условиями лечебный корпус построили, называется. Зовут Володя приехать. Курс пройти.

– А на Шумак никто не зовет? Там еще ничего не построили? – спросит Вася, следя за зелеными глазами Нины, сидящей напротив.

– Шумак – не-ет, Шумак – куда-а. – Доржи потербит седеющую свою бородку. – До Шумака цивилизация и через сто лет не дойдет. Все так же будет... Может, разве когда наши дети вырастут и построят туда дорогу... Да, дорогу через перевал.

– Это хорошо бы, дорога, – поддержит Вася, все зачем-то заглядывая в глаза Нине. – На этюды ездить. Сел в машину – и напрямик... Из одного мира в другой, как в сказке.

– Да, дорога... А будет ли при дороге Шумак? Будет ли там сказка? – Вопросы эти Доржи поставит почему-то лично мне. – И Нилова пустынь с благами цивилизованными... способна ли она сейчас так на людей, ну... действовать, как раньше? А?

Я не соображу, что ответить, да и вообще, можно ли вот так сразу ответить, а Доржи, зная, что тут я способен лишь подергать скулой, сам подергает щекой и допьет недопитую рюмку, сказав:

– За природу! За веру в то, во что нельзя не верить!

Мне вспомнится такой же летний вечер в тесной кривой долинке, желто-белесое пятно над скалой, едва проступившее через гущу деревьев... Когда же из-за леса прорезалась крупная луна, выпуклая и масляная, через реку от берега брызнули тени. И проступила из мрака сизым силуэтом низкая крыша, где пахло карболкой, паром, гнилыми досками, где совершалось, ни на минуту не прекращаясь, великое таинство исцеления. На тропе появлялись люди, и, зная количество каменных ванн под крышей, можно было по этим людям высчитать, сколько в среднем длится там прием ванны. Луна взбиралась выше, она поднималась как бы затем, чтобы осветить людям путь.

«Хы-ху, хы-ху», – работала река внизу, под скалистым отвесным срезом.

В проеме тамбурных дверей возникла широкая фигура. Это был Доржи. Без костылей и без палки. В тенях деревьев казавшийся квадратным, он с неестественной напряженностью и решительностью, неестественно прямой, медленно двигался по лесной тропе в сторону, совсем противоположную палаточному городку, и ночь, залитая туманом и серебряным лунным светом, как-то бережно принимала его к себе.

Где-то за излучиной песня вспорхнула тихо и ровно и так же тихо пошла по лесу...

Играют зарницы
На том берегу.
И снится, не снится,
И спать не могу.
Играют зарницы,
Ромашка цветет...

Луна закатилась за скалы, и опять вокруг сделалось черно. Я глядел на небо, там грустили Плеяды, их шесть, а седьмая сестренка их далеко. Думалось, что это, должно быть, правда, что воды, которые исцеляют людей в Саянах, и есть слезы той далекой-далекой девушки, живущей там, на небе.

«Хы-ху, хы-ху!...» – трудно исполнял в темноте, в тени высоких берегов, свою работу горный Эхэ-Угун, он как бы напоминал, что жить – это неустанно двигаться, бороться и с обстоятельствами, и с самим собой. А тайга вокруг таила загадки.

1964–1973 гг.

Леонид Масленников, работающий все там же, в своем педучилище имени Горького, нынче летом, как управился со студентами, явился ко мне с предложением ни больше ни меньше как пройти по старым горным тропам.

С этим же зудом не по возрасту (как-никак разменял шестой десяток) он побывал у Головешкина, у Кольшева и даже списался с мужиками из Шелехово, то есть с Анатолием и Виктором. Те отказались. Не сумел собраться и я, хотя память моя разыграла, возбуждая не столько мускулатуру в ногах, сколько фантазию в голове.

Леонид ушел в тот дальний угол Восточного Саяна один, то есть с женой и с шестнадцатилетней дочерью. Пообещал рассказать, как вернется.

По первому снегу я встретил Леонида на рынке у стола, где старушки торгуют травами.

– Ты что же не заходишь? Обещал... Ну как? Вернулся? Побывал? – набросился я на него, отмечая, что виски у Леонида уж совсем сивые и в бровях, проволочно встопорщенных, тоже седина. – Как там? Перемены, поди, ох какие...

– Да, побывали мы. Перемены, верно, да... – почему-то не воодушевился Леонид.

– Курорт ведь, слышал я, в Ниловой пустыни теперь знаменитый. Корпуса, столовые, мосты подвесные через реку... Кабинеты... Мраморные ванны. Оборудование по последнему слову...

- Да, столовые... корпуса... В ручей люди уже не садятся. Палаток уж нет. Но...
- Что «но»? Культура, поди, а? Красота! Если мосты подвесные да если культура в благоустройстве...
- Верно, культура, но... – Леонид смаргивал с левого выпуклого глаза напряжение.
- Что «но»? А на Шумаке как? Слышал я, туда уже вертолеты больных завозят регулярно. Не надо маяться, как мы тогда. Теперь-то, наверно, культура и там... – радовался я.
- Да, вертолеты, культура... Но... – Леонид не отвечал моему настроению, по левому его глазу ветвились красноватые жилки.
- Чего? Забежал бы. Подробно рассказал бы... – дергал я его за отворот шубейки.
- Да говорю тебе... Вертолеты и эта... культура, но... Чего еще рассказывать? Того-то уж нет. Что было-то. Понимаешь, нет!.. Тропки, тишина, кедровки, белки... Нету их, чтобы как тогда-то...

Леонид наскоро сторговал у старушки пару пучочков сухой, буренкой травки, один – от желудка, другой – от нервов, затрусил на автобусную остановку, пряча те пучочки в рукава.

1986 г.

На горячие ключи

1. Кулички-долгоносики

Утром распадки очистились от тумана. Поукоротились тени. Снова стало знойно. Запах распаренной ромашки и пикульника сменился запахом пыли.

Дорога жесткая, серая, по ней разбежались глубокие морщины. Синь далее режет глаза. Захлебнулись, утонули в этой синеве жаворонки, и сверху сотней, тысячей струй льется бесконечное журчание.

Что такое?

Что за каменная рать наступает с высокой ржавой гряды?

Нет, не наступает. Камни выстроились и застыли в недвижности. Одни в форме огромных плит трехметровой высоты, поставленных на ребро, другие торчат столбами, третьи напоминают человеческие фигуры.

Это все те же камни-надгробники.

Ветер веков, а может, и тысячелетий облизал их и изноздравил. Из бурых ноздрей выглядывают бронзовые жуки и, пятясь, воинственно поводят длинными черными усами.

Свернул я с проселка и пошел по тропе, взбирающейся на подковообразный пригорок.

«Погляжу с пригорка кругом, – подумал, – и вернусь, и снова пошагаю по дороге».

Но тропа за перевалом сбегала в ложок, весь усыпанный цветами, и еще заманчивее завляляла на другой пригорок, прячась там в густых таволжниках и молодых листовенницах.

«Поднимусь-ка я еще на ту гору», – решил я.

А дальше подумал: «Каждая тропа куда-нибудь да ведет, а так как я иду безо всякой цели, безо всякого маршрута, то какая для меня разница, куда идти, по тропе ли, по дороге ли?» И, не найдя на этот вопрос ответа, я махнул рукой и бодро зашагал по тропе дальше. Тем более что нынче не то, что было семь лет назад, я тут, собирая материал о партизанах, слышал от охотника из поселка Подвинцевский Кузьмы Семеновича Тырмычакова, что табунами медведи ходят и устраивают жуткие драки из-за самки, задирает один самец другого. Охотников призывали отстреливать медведей так же, как и волков. Нынче же, наоборот, ввиду резкого сокращения медведей за каждого убитого медведя – штраф.

Лес загустел. Справа и слева громоздились одна над другой замшелые валежины, вверху гудела хвоя, было сумрачно, пахло прелью.

Тропа вывела на разрушенный берег Абакана, усыпанный серыми обглоданными камнями. Вода оказывается не матовой, как издали гляделась, а темно-зеленой. Вся в ряби, в буграх, в воронках, будто ее кто-то невидимый помешивает. И снизу, и сверху помешивает.

Абакан на карте похож на коряжистое, ветвистое дерево, каждая веточка – река. А веточек более двухсот, это только тех, что покрупнее.

Веточки пересекают границу Хакасии и уходят в Туву, на Алтай, в Кемеровскую область.

По легенде, Абакан в древности звался Алаирт. На берегу его жил могучий, как гора Тырдан, хан Аба-Каил, что переводится как «медведь-хан», «медведь-крывь».

Аба-Каил на коне своем богатырском перескакивал через вершину горы, конь оступился, задние копыта соскользнули с камня. И конь и всадник упали в реку. Река с тех пор зовется Аба-Каил, сокращенно «Абакан».

Мной владеет чувство беспокойства, что бывает, когда встречаешься с непонятной силой. А силища тут есть. Соорудите корыто длиной в пятьсот километров, налейте в него воду, а потом возьмите да и вздерните мгновенно один конец того корыта на высоту в три километра. Какой станет напор! Так вот, такая сила и в Абакане.

Степные реки! Ни загадок, ни коварства в них никакого. Душа как на ладони. День проведешь на степной реке, а уже сдружишься с ней, породнишься. И поработает-то она на тебя, если надо, и понянчит тебя на своих мягких волнах.

А тут? Узконосые лодчонки ухитряются безнаказанно бороздить спину дикой реки. Безнаказанно? Нет, не всякая лодчонка возвращается к тому месту, откуда отплыла. В темных водах подстерегают невидимые каменные спины чудовищ, в непогоду они отфыркиваются, как касатки, над ними взвихриваются белые буруны.

Лишь в одну работу пока позволил втянуть себя Абакан: переносить на себе лес с верховьев к устью. Эта работа ему в удовольствие. Игра. Как он вздыбливает бревнышки! Как он мечет бревнышки-то от одного берега к другому, то друг через дружку! То свечой пронесет, то закрутит на одном месте волчком. То швырнет на берег, то снова ухватит и понесет торчмя. Заурчит от восторга, как бы сам удивляясь себе!..

В поселке я нашел человека, чтобы плыть с ним на знаменитые Горячие Ключи.

И вот уж гудит мотор лодки. Позади остались и лесосплав, и поселок лесозаготовителей Усть-Матур, единственный населенный пункт на всем многотысячметровом пути по Верхнему Абакану, если не считать крошечного поселка, называемого Центральным.

С волны на волну, с переката на перекат.

С буруна на бурун.

От скального прижима – к скальному прижиму.

Горячие Ключи – это... Впрочем, на юге Красноярского края и в примыкающем Горном Алтае и Туве нет ни одного взрослого человека, который бы не знал об исцеляющих от разных недугов Горячих Ключах. Эти Горячие Ключи входят в зону действия территориально-производственного комплекса, должны стать его оздоровительной частицей, лечить строителей и будущих эксплуатационников, их семьи.

Но пока отваживается проникнуть на них, на источники, редко кто – на пути страшные пороги и утесы.

Проход же, мой попутчик, пенсионер из Абазы, бывалый лодчонка, уже дважды проникал на Горячие Ключи, лечился от болей в желудке, и теперь для профилактики еще едет, заодно и порыбачить в верховьях: речная рыба на базарах в цене.

Дождь. Он пошел в полдень, и не видно ему конца. Проход, накрывшись с головой зипуном, неподвижен, как огромная рыжая кочка, мне не видно, как он там, под зипуном, правит движением лодки.

Горы впереди взялись синим туманом, вершины ушли в тучи и растворились там. Перед нами – сплошной сизый горизонт, у подножия темнее, выше – светлее. Будто нет гор, а есть огромная тяжелая туча, и больше ничего.

Рядом проносятся буруны. Они, точно огромные белые рыбы, вскидываются и тут же падают.

По скалам пополз туман.

Нет, это не туман, это облака.

Облака, как дым, густой, соломенный дым. А может, это и дым? Горят скалы?

Впереди все забито белым: и небо белое, и ущелье, по которому прокладывает себе дорогу Абакан. Догадываюсь: это снежный завал.

С тревогой спрашиваю:

– А тут как пробьемся?

– Что к-как? – слышно из-под зипуна.

– А через снег?

Проход, очень широкий в плечах, стеснительный, в очках, немного заикается, однако заикание придает его речи раздумчивость и степенность.

– Это все об-блака те же, – говорит он, скинув зипун.

Облака на реке, на лесах, на скалах, над нами, будто полог, цепляющийся за наши головы, облака нежно-белые, непроницаемые. Облака ползут между нами, ложатся в лодку. В детстве я слышал, как в соседней деревне кто-то залез на колокольню и пытался схватить кусок облака, полагая, что оно все равно что студень, его можно положить в кувшин, закрыть и сохранять там. Я пробую ухватить облако, но, сколько ни стараюсь, рука все пустая, пробую шляпой – и шляпа пустая. Пока я этим занимаюсь, при подсмеивании Прохора, небо разрезает молния.

Прохор подруливает к берегу.

– Як-корь-к-курица, все т-тело обложило. К-костерок д-да-вай сделаем. От-дохнем перед К-курчепом. П-перекат такой. В по-зат-том годе геологи здесь перекурыкнулись. На б-бочке удержались. А пр-роводник Курчепов был, так и на дно у-ушел.

Изумительно приятно, вкусно и густо пахнет сразу после дождя берег своими травами и цветами. Исцеляюще. Иль уже началось действие тех Горячих Ключей, какие где-то еще далеко за горным перевалом? Скала над нами узкая, как подрубленная, на нее взбегают десятипестковый стародуб, козлиные обутки, купена с белыми висячими бутонами, мелкий ползучий кустарник с пильчатыми листьями.

К берегу подошла тайга, густая и сурово-задумчивая. Как бы прореживая темноту хвойного леса, светится белизна нечастых берез.

По-над берегом тальник, острая осочка. Бегают и кричат кулички:

– Фю, фю, фю.

Кричат в три свиста, не больше:

– Фю, фю, фю.

У куличков тут дом.

Хочется рассказать Прохору, как мне однажды сделалось жутко. Вышел я на окраину Красноярска ранней зимой, отошел от города километра за полтора-два, севернее от горы Афонтовой. Фантазия у меня играла.

Как же! Давний мой предшественник у горы Афонтовой охотился на мамонта, кости этого зверя еще недавно находили мы в обрывах, омытые дождями, белеющие массивно, подобно бревнам. Последующие поколения охотников встречали там много северных оленей, архаров, зайцев, волков и очень много белых куропаток, выпархивающих с треском по десятку из каждого куста. Северные олени, как выпадал снег, появлялись с той стороны, где нет солнца, переходили по льду реку, а когда воздух начинал пахнуть оттаявшими скалами, стада возвращались и шли в ту сторону, откуда появились. Но вместо них с первыми травами к подножию горы начинали усиленно идти с юга табуны лошадей, ослов, зубров, антилоп-сайга. На рыжих скалах по утрам появлялись силуэты козлов-тэкэ и горных баранов...

Бывал я в перелесках за горой Афонтовой летом, когда буйствовали травы. Мне казалось, что травы и вся эта лесная гуща кишат животными, не могут не кишеть. Сколько зелени сочной, корму разного! Не вижу я зверей и зверушек только из-за густоты трав и древесного подростка. И вот выпал снег на пожухлые прилегшие травы, без листьев лес разрежился. Все стало выглядеть той самой книгой, о которой мы узнали в детстве от школьного учителя: выйди в лес и читай открытую книгу.

Наготовился я читать. Но... не то что строчки, ни одной буквы! Ни одной. Снег, эта палатно-белая простыня, не тронут ни лапкой, ни копытцем, ни коготком. Что же это?! Из тысячелетия в тысячелетие у Афонтовой горы люди селились потому, что несметные тут стада диких животных бродили по лесам и полянам. И вот – мертво. И летом те травы меня перестали волновать. Я глядел на травы уже с озабоченностью, как на дом, давно оставленный хозяевами.

Истина: за исчезновением фауны во флоре следует исчезновение самой флоры.

Мы с тобой, Прохор, готовим среду для идущих за нами. Идущие за нами готовят для тех, которые за ними. И так далее. Цепью. Как верблюдов караван в тувинской степи.

Все главное в нас начинается, когда нам еще далеко вон до того укрепившегося на скале кедра с рябым, наполовину черным, со смоляными натеками, стволом, с коряжистыми, выгнутыми вверх ветками. А когда все главное лепится в нас, тогда мы еще, вон как тот пушистый кеденок под скалой. Пушистый игольчатой пушистостью.

Значит, мы, взрослые, огораживая себя трубами, проводами, бетонными коробками, не имеем права не думать: а как в этакой огороженности возрастет идущий за тобой? Как возрастет новая людская поросль? Так ли, как вот этот кеденок, защищенный от весенних камнепадов и зимних снежных обвалов старым кедром, или вон как тот мелкий караганник, охватываемый из ущелья сквозным ветрогоном, низко, ползуче стелющийся, держащий на себе листья только с одной стороны, от реки?

Да, да, среда, она есть великий рабочий, который лепит нас, людей, из младенцев.

На Сибирь глядели издалека по-разному в разные века. Сперва как на собольи шкурки, затем как на дешевое золото, на лакомое сливочное масло, самое вкусное в мире. Потом как на энергетическое сырье. Потом... как на бесконечный поток алюминия. Да, да, геологи уверяют, что вот-вот будут открыты в Сибири кладовые бокситов и нефелинов, такие кладовые, каких мир не ведал еще. И тогда из Сибири потечет алюминий в размере... трех четвертых из всего, производимого в СССР.

Наши города опережают нас, людей. Я, когда приезжаю в город детства, Новосибирск, хожу по знакомым местам и не узнаю этих мест, они незнакомые. А встречаюсь с приятелями, с которыми не виделся с детства, и они сразу узнают меня, несмотря на то что повзрослел (постарел) на целых три с лишним десятка лет. На сколько же лет повзрослел мой город, если я, вглядываясь, не узнаю его лица! Мне кажется, что город не повзрослел, он просто умчался куда-то вперед.

Человек имел предельную скорость пять – восемь километров в час, теперь, говорит В. Парфенов в книге «Цените минуту пятилетки», при ракете, он «в десять раз быстрее снаряда, выпущенного из ствола пушки».

Проход рассуждает, и мысли его складываются так. Человеку некогда примерить перед домом травянистую полянку – проще плюхнуться безразмерный асфальтовый блин. Некогда шлепать пешком – в автобус надо поспеть, в самолет. Некогда по снопику убирать хлеб, надо сразу все в поле. Штопать ботинок шилом – что ты! – автомат для того, поточная линия. Все некогда.

А что там, за теми вон горами, убравшимися в тучи, куда бежит человек? Что там? Ну, конечно, ясно – изобилие... Изобилие – блаженство? Чего изобилие? Вещей? За счет кислорода, цветных лужаек и вот тех куличков?

Чтоб себя и мир спасти,
Нам нужно, не теряя годы,
Забуть все культы
И ввести
Непогрешимый
Культ природы, —

настаивает поэт Василий Федоров.

Возобновляется дождь, он долбит над головой в палатку. Зеленой ледышкой дрожит подорожник. Скрытые в реке камни шумят, затихают, опять шумят.

И кулички вдоль берега, одетого в белые кружевные бурунчики, все приплясывают да посвистывают весело, беззаботно, должно, еще не ведая тут, в глухомани, о нашей ставке на вещи.

2. Таймени-реликты

Лодка от быстрого хода подпрыгивает и хлопает носом об воду. Только что прошли два переката, два Гордея, Большой и Малый. Прохор, изучающе взглядывая на меня, говорит, что на Абакане названия рифов, мысков, крутояров связаны с именами утопших.

У меня тягуче заныло под ребром.

Прохор выключает мотор, берет припасенный шест, меня высаживает на берег, вручает толстую конопляную веревку.

– Тащи, – говорит. – С г-господом... б-богом.

Я оказываюсь вроде бурлака.

Сперва веревка слабо натянулась за моей спиной, потом вдруг вошла в мякоть между плечом и шеей, и меня толкнуло на камни. Я догадался захлестнуть вокруг себя конец веревки. Меня положило на другой бок, норовя стянуть с берега, потом выровняло и опять бросило на камни.

И только тут я вижу, как навстречу откуда-то сверху сваливается пена. Это река попала в межскальную щель и оттого вздыбилась.

Я пробую выравняться, не знаю, в какую сторону сейчас шибанет. Одной рукой надо успевать ухватиться за каменные углы, их, углов этих, много, потому что вода изрыла скалы.

Шаг, другой, третий... пятый...

Потом берег выравнивается, расстояние между мной и водой увеличивается, река разглаживается. Оглушенность, однако, не проходит.

– Э-э, як-корь-курица!

Конечно же, это он, мой дорогой Прохор. Слышу его до того, как увидеть. Потому что еще не оборачиваюсь. Жив! Более того, с ним вообще ничего не случилось.

Он, Прохор, сияющий, какой-то медный, сидит посреди лодки, подвернув под себя ноги. Кепка сбита на затылок, очки на носу, а перед грудью наперевес – шест.

– Нич-чего, с-славно прошли. С шестом ничего. Б-без шеста-то гиб-блое дело. Н-народ раньше п-проходил сюда через все-е триста в-верст на шеста-ах. К-карбонах еще осталось пройти, и все. Там тиши зачнутся. По тишам хошь на б-боку плыви, не колыхнет. К-карбонах, вон лишь главное...

Наворачиваю веревку вокруг камня – чтобы лодку не снесло. Отдых. Прохор говорит, что не с чего бы и устать-то, но, дескать, ладно, можно вылезти, вскипятить и попить чаю. С красноватых скал, где промоины, свисают пучками жесткие травы, похожие на осоку. Нас сопровождают кулички, это будто все те же. Фюфюкают, тонконосые.

Я разворачиваю карту, стараюсь определить, где мы сейчас, но не могу, так как не на что ориентироваться. Перекатов на карте не видно. Приблизительные ориентиры – притоки, которые через каждые пять-шесть километров вливаются в Абакан, но и притоки не все прочерчены на карте.

За тем вон горным четырехзубцем, еще по-зимнему в снегу, иссиня-пепельным на солнце, – Горный Алтай. Река Абакан туда не доходит, обогнув хребты Кызыр и Карлыган, она сворачивает, идет к востоку, потом к западу, почти упирается в Шапшальский хребет, отделяющий Алтай от Тувы.

За чаем, полулежа, весь размягченный, вдавив локоть в песок, Прохор рассказывает, как недалеко от этого места партизанские отряды А. Д. Кравченко и П. Е. Щетинкина шли из Степного Баджея в Урянхай и как они тут разбили колчаковцев, у которых командиром был есаул Бологов. Есаул этот удрал, и еще несколько из его компании успели удрать, остальные же – их было две с лишним тысячи – были порублены партизанами или в плен сдались.

– Н-наших-то, абазинских мужиков, много в партизанах было. Рукастые все! – Прохор мягко, с каким-то первозданным спокойствием глядит снизу на реку.

Меня пугает Карбонах. По словам Прохора, это почти то же самое, что и Гордей Большой. Перекат с несколькими изломами течения.

Чай выпит. Следы нашей обуви, кучечка тлеющих головешек, быстро обволакивающих пушком голубоватого чистого пепла, да крошки от черных сухарей остались на берегу. Мы в пути.

Серая стена скал, черные вздутия не то над водой, не то над туманом, выползшим из ущелий, – это и есть Карбонах. Я отыскиваю глазами терраску, по которой мне придется опять ползти с веревкой, готовлюсь к высадке. Вон, кажется, терраска. Нет, то просто расщелина. Гляжу в напружиненный, жилисто-бурый затылок Прохора. Жду команды. А он сам опять возьмет шест.

Но что? Лодка минула то место, где мне удобно высадиться. Прохор ведет лодку у самой стены. Куда же он? Впереди скала выдвигается углом, и там, под ней, почти торчмя, в рост, ходят друг за дружкой деревья, еще не обломавшие всех своих веток и не рассыпавшие хвою. Деревья по кругу ходят, заныривают и так же мгновенно вдруг выметываются из глубины, трясут своей набухшей тяжелой кроной.

Прохор задумал что-то крайне рискованное. Когда до деревьев осталось метров пять, он с тихой скорости переключает мотор на самую высокую, успевает крикнуть мне:

– Держись! С богом!

Мы оказываемся накрытыми водой, в следующую секунду – ощущение подводного звенящего вакуума. Потом опять давление воды на голову. Это сменяется ветром. Перед глазами взбуренные, нет, не струи, а пласты, оловянно-белесые, они уносятся за бортом, скользя.

– С-славно... – Прохор поворачивает ко мне наморщенную в остуде щеку. – Напрямки-то с-славно. А так бы... сколько бились.

– А если бы мотор вдруг заглох? – спрашиваю я, наблюдая теперь издали, как река за водоворотом разбивается на острых скалах. Я забыл упрекнуть Прохора, что он не по возрасту безумен, лихачеством его тут некому любоваться.

– Что? – Прохор все ко мне щекой: щека, высыхая на ветру, вздувается щетиной. Он опять дает большую скорость и пересекает реку, тут уже не столь бурную, но сильно засоренную.

Вспомнив о моем вопросе, мужик поворачивается ко мне всем лицом.

– А ч-что б-бывает, когда самолет над г-горами ломается? – тоненько хихикая, ставит он вопрос в свою очередь. – Т-то...

Потом, видя, что я прихожу в себя, деловито рассказывает, как в прошлые времена Абакану люди раз в год приносили в жертву быка с белым пятном на лбу; плот с привязанным на нем быком пускали в самые водовороты. Приносили в жертву, чтобы, сдобрившись, река не убивала их, людей. Нечего сказать, успокоил.

Берега мельчают и отдаляются так, что камни на них уже неразличимы. Течение останавливается совсем, Прохор объявляет:

– С-самые тиши. Зачались. Самое с-славное место.

Он выключает мотор и налаживает спиннинг.

– П-попытаем счастье. Н-на тишах всегда фарт.

Благословенны вы, не тронутые цивилизацией уголки! Едва блесна скрывается в загустевшем, ленивом омуте, как вдруг в руках ошеломленного мужика катушка начинает тарыхтеть с такой быстротой, что через три-четыре секунды на ней остаются последние метры сатурновой леси. Из омута выбрасывается и встает свечой что-то вроде сутунка, трясется, опускается, тонет и снова выбрасывается. Лодка начинает рывками ходить. Прохор ласково укоряет:

– Эх ты, якорь-курица!

У Прохора вид такой, будто он правит рысаком, несущим его по гладь-дороге. А где рысак – не видно.

Правит десять минут... двадцать... полчаса... Рысак выбивается из сил... Лодка раскачивается на месте. Слышно, как тяжелая, успокаивающая вода чмокает о черный, густо намоленный бок лодки.

– Т-теперь мы его... этак, милого, руками. – Сказав это, Прохор, однако, торопливо, несколько нервно, шарит свободной рукой по дну лодки, у себя под задом.

Ударил Прохор рыбу багром у самого хвоста. Неясно, зачем ему было туда тянуться, когда плосколобая рыбья голова ткнулась в самый борт. Уж не потому, конечно, что это полутометровое конусное тело, блестящее искрообразными пятнами, завершилось у хвоста эффектной расцветкой – ярко-красной, такими бывают иногда листья осенью на осине.

Рыба, придавленная рыбаком повдоль так, что колени его пришились к жабрам, а руки на серых скользких плавниках, была способна еще к сильному сопротивлению, потому Прохор не извлекал багра и заматывал, стягивал ее брезентом. Мне было категорически приказано сесть сверху на брезент, давить и держаться за что можно, чтобы не вылететь в воду. Мозжание рыбьего тела, теряющего упругость, переходило сквозь толстый брезент и глохло где-то во мне.

Тянуло на философию по такому поводу. Тянуло вспомнить «Старика и море», где была предельная необходимость; и еще подталкивало вспомнить «Царь-рыбу», где этой необходимости уже не было, вернее, была, но не предельная, и вот теперь мы... Впрочем, об этом, наверно, думать не надо. Было время, когда я по молодости по поводу и без повода пускался в рассуждения насчет того, вправе ли мы юридически лишать жизни зверей, ниже нас по развитию стоящих... Или все же... все же всегда об этом думать надо? Всегда? Если хочешь классифицироваться в этом запутанном мире по разряду людей, а не вот этаких хищных рыбин... Да-а...

Прохор в азарте победителя! Перегоняет он лодку опять ближе к перекату. Снова выбрасывает блесну:

– Начало л-ладное, – объяснил мне. – Т-таймень по одному не бывает. П-по десять штук ходят. Пофартить должно.

Я слежу за натяжкой лесы, стараюсь представить, как там, в десяти – пятнадцатиметровой глубине, где гаснет подводное течение, вернее, на границе двух течений, верхнего и нижнего, ходят огнехвостые вот эти существа, которых в прежние времена во всех реках Сибири была уйма, теперь они вот сохранились только в этаких глухоманях. Ведают эти существа или не ведают, сидя тут, в тиши, что становятся реликтами как бы?

До вечера Прохору удастся вытянуть еще одного реликта, почти такого же размера. И я опять с болью в душе и даже не с болью, а с каким-то этаким гнетущим пронзительным подсасыванием, я опять думаю: «А надо ли? Есть ли уж такая особая на это у Прохора необходимость, при которой говорят жестко, на выдохе: или – или?» Не лучше ли, если бы этот реликт оставался здесь, в немереной глубины черном омуте, завораживая путников присутствием тоже немереной тайны?

На закате солнца поднимаемся на Окуновое озеро. Оно, продолговатое, вытянулось километра на три, соединяясь с рекой узким белым водопадом. Еще раз: о, будьте вы благословенны, не тронутые цивилизацией уголки!

Я удивляюсь серебристо-золотистому кипению озера. Это зорюет рыба. Надо видеть, чтобы верить. Тучами порхают утки, гуси, они опасаются в этот час всеобщего рыбьего жора садиться на воду, чтобы не оказаться в пастях многочисленных озерных хищников. Птицам порхать долго тяжело – у них после линьки еще не совсем отросли маховые перья. В Новосибирской области, за нашей деревней Никольск, такие табуны мальчишкой я встречал на болотах. Мы с пращами подкрадывались, приподнимались, раздвигали ножевидную, опаляющую

пальцы осоку и на чистине видели утиную стаю. Птицы успевали заметить нас за секунду вперед – и вся болотная чистина на гектар взрывалась крыльями. Птицы, наполнив свистом воздух, после двух кругов полета опускались на воду с другого конца. Там рыбных хищников не было, утки, гуси, плавая, пугались, наверно, только нас. Кстати, взрослых охотников тоже не было.

Щуки ни на что не похожи. Вытащишь ее и сразу же отпрянешь: голова огромная, черная, точно чугунок, а тело тонкое, короткое. Или это не щуки? По зубастой, взявшейся мохом голове чудищу дашь сотню лет, а по телу – средняя щучка. Прохор уверяет: щуки.

Прохор, засаливая щуку, всякий раз проделывает эксперимент: отрубает щучью голову и в ее пасть просовывает ее же, щучье, тело и так, в таком виде, кладет в бочку.

– В-вот, она и сама себя может проглотить, – удивляется он. – А про щуку Бориса Годунова не слышал? Ей сто семьдесят лет б-было, когда ее изловили. А з-за границей, сказывают, триста лет щука прожила с кольцом, п-пять метров длины.

Потом спрашивает:

– Как думаешь, к-кончится здесь когда-нибудь рыба, как в других местах она к-кончилась? – И сам же отвечает: – Наверное, кончится. Не должна не кончиться. В Ширинской степи озеро Орлиное к-кишело так же. Окуни все были. За час удочкой – двухведерная корзина. А теперь там з-за день – едва на уху достанешь.

«Все везде кончится, все», – хочется мне в раздражении сказать жадному этому мужику, но я молчу. Ох, эта уж наша привычка везде деликатно молчать!..

В пяти шагах шевелится, гнется осока, как при ветре.

Приглядываюсь: там бродят табуны линялых кряковых и гоголей.

А вокруг тайга. Та самая, о которой в прошлом веке писал путешественник и писатель А. Андрианов: «Знаете ли вы, читатель, что такое сибирская тайга? Та настоящая тайга, в которой живут привольно одни звери, где копыто коня никогда не ступало, куда отважится лететь на лыжах только инородец да отважный золотоискатель, охваченный неудержимой страстью поставить все на карту, только бы найти те блестящие крупинки, которые спать не дают, суля воображению горы богатства. Нет, вы не знаете этой заколдованной тайги, не знаете и чар, сокрытых в ее недрах».

3. Счастливая страна

Неделя, как я на Горячих Ключах.

Проخور пять раз в день ложится в деревянное, в зеленой слизи корыто. Я тоже ложусь, но только утром и вечером. Корыто стоит на источнике, вода в него вливается, пузырятся, щекошет плечи и обтекает ноги. Проخور фырчит в наслаждении. Надоест на спине, перевернется на бок. В рот набирает воду, щеки надувает и фырчит с закрытым ртом. Сколько выпивает за день – непонятно; очевидно, не менее как ведра полтора, и все потеет. Лечебное свойство этой источниковой воды, наверно, в том и есть, что потеет от нее человек. Проخور так и говорит:

– Омыть внутренности н-надо. Накипело. Все живое т-требует оммывки.

Перед глазами небо и зубцы гор. В позвоночник, в плечи, в бедро по-живому мягко тычутся теплые, текущие, бурунчики.

За кустами топорщится старая крыша одинокой избы. Ее, говорят, построил какой-то предприимчивый председатель колхоза соседней, Кемеровской, области, чтобы извлекать для артели прибыль. Сюда изредка ходил самолет, садился в тридцати – сорока километрах, и до Ключей добирались по тропам кто как, безнадзорно. Тот самолет почему-то давно перестал летать.

В шестидесятые годы приходила специальная экспедиция медиков, исследовала ключ с точки зрения химии, физики и тому подобного. Составили медики докладную записку, основательную, серьезную, с серьезным выводом: строить бальнеологический санаторий! Но строительства нет и неизвестно, когда будет.

Сколько их, этих первобытных здравниц, не внесенных на карту, разбросано по Сибири! Мысль у меня давняя: пройти с кинокамерой по всем таким местам, заснять и показать людям в городах.

Вот западная и центральная части Саян. С хребтами Араданский, Сабинский, Обручева, Танну-Ола, Сангилен... Впадины, котловины, ущелья. Пойди по реке Барахоль – увидишь растекающийся пар, жердяную загородку – тоже древняя народная лечебница.

Северо-восточнее озера Тере-Холь, в устье ручья Баяй, есть минеральные источники, куда тувинцы и хакасы добираются верхом на лошадях. О пользе минеральной воды, стекающей вдоль Белино-Бусинского горного разлома, и кремнекислом, сероводородном с примесью радона источнике в междуречье Чаван-белин я слышал также давно. Тут люди, добравшись кто как, лечатся до первого снега, который выпадает в сентябре. Последняя партия людей уходит, а с гор спускаются звери. Они сперва скапливаются в нижней части густого хвойника. При снеге и морозе пар плотнее охватывает леса, укрывает опустевшие шалаши, землянки. Звери обживают «курорт» по-своему (никто еще не догадался остаться, без ружья, конечно, в зиму и понаблюдать, как они, звери, обживают, лечатся, и у меня давняя мечта самому это сделать), до следующего лета тут живут. А поздней весной, когда снова люди появляются, звери уходят.

Очень популярны среди хакасского и тувинского населения лечебные воды в долинах малых рек Улуг-Адыр-ои, Нижнего Кадрауса, Кизи-Хема... Кстати, на Кизи-Хеме (источник тут в горах на высоте полутора километров) в 1966 году побывал доктор геолого-минералогических наук Е. В. Пеннекер, он доказал, что источник превосходит минеральную воду многих лучших источников страны, а радона в нем больше, чем в прославленной Белокурихе.

У подножия перевала Чойган-Дабан были знаменитые исследователи Сибири Крыжин, Грум-Кржимайло, Обручев... Все они выражали надежду, что вот государство курорта. Минуло сто лет, а на Чойган-Дабане пока жмутся лишь четыре черных срубика да один колодец.

К западу от Чойган-Дабана древняя тропа ведет к другой минеральной воде, к той самой, о которой в прошлом веке топограф Крыжин писал, что «она еще знаменитее своими углекис-

лыми ключами и посещается как нашими пограничными жителями, так и из далеких стран приходят к ней».

Нет на планете минеральных источников, подобных которым не имелось бы на земле Сибири. Реки целебной воды у нас бегут без пользы!

И при этом-то – дела-а! – к нам везут бутылки с минводой из Ставрополя! При этом-то сибиряку врач советует ехать на воды в Ставропольский край или еще дальше! Путевочника из Красноярска, Иркутска, Черемхово, Кызыла везут туда чаще на самолете. За семь тысяч километров. Но на самолете не везут на Чойган-Дабан. Хотя от Красноярска всего четыреста с немногим, от Иркутска – триста пятьдесят, от Черемхово – двести восемьдесят километров. Не везут.

– Почему? – спросил я знакомого летчика.

– Да туда же нет организованных пассажиров с направлениями, чтобы нам открыть маршруты, – ответил летчик.

– Почему нет организованных направлений? – обратился я к медикам, понимая, что вопрос задаю наивный. «Как же они могут направлять на лечение, если там никаких условий?»

Так мне медики и ответили:

– Как же мы станем направлять, если там ничего, кроме шалаша да примитивных срубов!

– Почему ничего не строите на Чойган-Дабане? – спросил я знакомого строителя в Кызыле.

– Как же строить и какой резон, если нет туда никаких самолетов и никакого транспорта? – удивился строитель.

Линия загнулась и сомкнулась в кольцо.

Еще задолго до этого, лет десять назад, я интересовался, почему в Сибири медленно строятся курорты. Интересовался и у себя в Красноярске, и в Москве, в ЦК профсоюзов. Ответ был такой: недостает средств. Тогда я подсчитал, сколько денег тратится на оплату проезда путевочника в Цхалтубо или Железноводск, помножил на количество путевочников, каждый год направляемых из Сибири за ее пределы, приплюсовал сюда расходы на перевозку в Сибирь водицы из того же цхалтубинского или железноводского источника, и вышла сумма настолько громадная (подсчитывал в пределах пятилетки), что с лихвой хватило бы ее на постройку десятка курортов в Сибири на местных минеральных водах. Тогда же я разговаривал с врачами, советуя своими пациентам побывать на каком-нибудь кавказском курорте, спрашивал: «А если бы в Сибири был подобный курорт, вы также считали бы, что вашему пациенту необходимо побывать на кавказском?» Понимал, что вопрос задаю наивнейший, тем не менее задавал. Дальше шел любопытный диалог.

– Что вы! – восклицал врач. – Моему больному совершать поездки, связанные с резким изменением климатических условий, вредно.

– Знаете, что вредно, а советуете.

– А как быть? Моему больному противопоказан Кавказ, но минеральный источник, который там есть, ему очень нужен.

– А не снижается польза источника «противопоказанностью» условий?

– Да как же не снижаться-то! – взрывался местный врач. Другие же врачи отвечали не так прямо, отводили глаза.

А у меня тогда был частный пример из собственного опыта. Не то трижды, не то четырежды меня носило с гастритом на Кавказ. Приезжал оттуда, с полгода – ничего. А потом опять начинало подавливать. Надоумил один знакомый отправиться на сибирскую минеральную водицу. Не на курорт, нет, на тех водах еще не было тогда курорта, и сейчас там нет, а просто на дикий источник, по химическому составу схожий с тем, с кавказским. «Не беда, – уверял знакомый, – что не в палате жить станешь, а в палатке и питаться возле костра, важно,

что избавишься от своего гастрита». Послушался я, побывал там. Воду кружкой этакой поллитровой забирал на манер Прохора.

Прав ведь знакомый оказался. Помогло.

Я рассказал врачу, он совсем не удивился, этак склонил голову набок, шевельнул скучными бровями, проговорил:

– Так и должно быть. Просто ваш организм в данном случае не тратил силы на адаптацию в новой климатической среде.

В центральных плановых органах учли: да, не расширять сеть здравниц на сибирской природной базе – убыточно. Деньги теперь выделяются. Большие деньги. Не было ни гроша, и вдруг алтын.

Беда теперь другая: осваивать деньги некому. Людей распорядители шлют на нефть, на газ, на руды... Сибирская минводица – мелочь. Внимания особого в данный момент не стоит. Могушество, дескать, российское, этим не увеличишь. А так ли?

Этим самым вопросом, как человеку извлечь больше пользы от минводицы, в широте общепланетной занимаются Международная федерация по курортологии и климатологии, международная ассоциация по физической медицине, у нас в стране – Всесоюзное общество физиотерапевтов и курортологов. Оно шлет своих членов на международные конгрессы, ежегодно собирающиеся то в Баден-Бадене, то в Венеции, то в Вашингтоне, в Париже, в Монреале...

Страна располагает научно-исследовательскими институтами курортологии и физиотерапии, они в Баку, Ереване, Фрунзе, Пятигорске, Сочи, Ташкенте, Тбилиси, с филиалами в Сухуми и Цхалтубо...

Есть главный над всеми – Центральный институт курортологии и физиотерапии Министерства здравоохранения СССР.

Бальнеологией занимаются кафедры и секторы медицинских институтов в Воронеже, Караганде, Киеве, Харькове, в Эстонии, Латвии...

Перечисляю – и вот настораживаюсь. Смотрите, всё европейская часть или Юг!

Запланировано получать за счет Сибири половину всей электроэнергии страны, столько же угля и газа, больше трех четвертей цветных металлов, мрамора, леса и химической продукции, нефти, четверть минеральных удобрений (глядите-ка!) – этот главный тягач нашего хозяйства повернул на восток и давно, громяхая, движется по таким территориям, как Тюменская область, Алтайский край, Красноярский край, Забайкалье!..

Поставлена задача следом за головным тягачом подтянуть сюда и весь обоз! Сейчас!

На долю Сибири и Дальнего Востока – это много больше всей остальной территории страны – приходится населения всего лишь девять процентов. Сейчас-то!

Зашел я к московским курортологам, объяснил им положение.

– Где бы ни базировались научные учреждения, они в равной степени занимаются всеми точками страны, – бодро ответили мне.

Как ни настраивал я себя, а все же не мог поверить, что сибирские наши проблемы с больших расстояний видятся лучше.

Когда-то, на заре нашего российского бальнеологического санаторостроения, в газетах и журналах вихрились-пыхали споры: какая минвода лучше – кавказская или заграничная? Железноводская водица сравнивалась с карлсбадской, что в Чехии. На карлсбадскую все ехали тогда обеспеченные россияне, лечились. В сравнении-то и доказывалось по пунктам, что железноводские лучше, целебнее.

Давно уже наши россияне не рвутся на заграничные воды. Наоборот, иностранцы рвутся на кавказские. Гидрогеологи тычутся там (в который раз за сто пятьдесят лет), дополнительную разведку делают, бурят, дырявят новые пласты, а дефицит-то этой самой Минводы то в Кисловодске, то в Эссентуках себя показывает.

Теперь, может, товарищи медики, настала пора доказать, что сибирско-саянская вода кавказской много лучше? Надо это для того, чтобы сломить устоявшееся мнение.

Пора разгрузить перенапряженные курорты страны за счет наших минвод, сибирских, напрасно истекающих в овраги! Заботы об этом должны входить в круг прямых проблем, связанных с территориально-производственными комплексами.

До революции в России было девять бальнеологических санаториев, лечилось в них тридцать шесть тысяч человек: шестьдесят четыре процента помещиков, дворян, купцов, двадцать один процент офицеров и чиновников, десять процентов духовенства, врачей, учителей, техников и пять процентов нижних чинов. Рабочих и крестьян – ни одного.

Сегодня только в Сибири – больше двух десятков, крупных, хорошо обустроенных, курортов: знаменитые Белокуриха, Шира, Учум, Красноярское Загорье, Нилова пустынь, Горячинск... Лечатся тут, как подсчитал один скрупулезный краевед, восемьдесят два процента рабочих и колхозников. Но время требует куда большего.

– Вы очень счастливая страна, у вас есть все и на земле, и под землей, – сказал недавно президент японской фирмы «Итотю» С. Подзаки, приняв советского журналиста из Красноярска: при этом президент рассматривал карту Сибири: – Давайте торговать и вместе строить.

4. Медведь-геолог

Отыскать в тайге, ущельях и на вершинах гор целебные минеральные источники человеку помогают звери. Так и идет: поначалу зверь попользуется, потом и человек вкусит от блага.

В Тункинской долине отряд казаков, посланный из Иркутска для осмотра глухих земель, лежащих к югу от Байкала, разделился. Двое поехали открывшейся степью, четверо наметили себе ориентир в горах, очерченных на горизонте. Эти, последние, несколько суток двигались на полуденное солнце, вышли на реку Эхэ-Угун, очень шумную, быструю, прыгающую по огромным серым валунам. Двигаться вдоль воды каменистым берегом было трудно, и в то же время это было лучше, чем прорубаться через хмурую, в болотных топях тайгу. Двое казаков уже пересели на запасных лошадей, потому что те лошади, что шли под седлами, в кровь иссекли щиколотки.

Ослабевших лошадей путники оставили в травянистой ложине. Однако животные не хотели оставаться без людей, из последних сил плелись позади, тоскливо ржали.

Отстали измученные лошади, когда проходили наиболее скалистый участок. Буланный меринок с иссеченными задними ногами положил голову в развилок сухостойной, расщепленной грозой сосны; казаки оборачивались и долго видели голову буланого, самого крепкого из отставших лошадей. Это было за полдня до того, как встретиться казакам с удивительным явлением.

Сперва они увидели пар в овражке, потом плюханье услышали.

– Глядите-ка. – Передний казак остановил коня и поманил спутников.

Среди мутновато-серой лужи сидел медведь, он окунал в теплую жидкость то одну лапу, то другую, хлопал себя по бокам, по голове, при этом удовлетворенно отдувался.

– А вон-то! – прошептал казак, указывая рукой в еловый лапник.

В нескольких шагах от медведя лежала в ельнике маленькая кабарга и с ленивым любопытством посматривала на хозяина тайги. У противоположного края лужи отдыхал седой лось. Обычно ни кабарга, очень пугливая, ни лось близко от медведя находиться не станут.

Тут же люди спугнули еще несколько зверей, среди них были волчица, зайцы, табунок коз. Песчаное дно лужи, вытянувшейся между кустами на сотню саженей, все было испещрено следами копыт и лап.

Поудивлявшись, казаки продолжали путь, перебрали реку и на другой день добрались до маленького улуса Туран, что у подножия горы. Жители улуса сказали:

– Давно, как старики себя помнят, все в том же овражке, где аршан, чудеса: и летом и зимой сходится разное зверье.

Казаки решили вернуться и еще раз поглядеть. На этот раз кроме зверья они застали в овражке своих лошадей, которых несколько суток назад бросили в пути. Две лошади паслись по косогору, откуда выбивался теплый фонтанчик, а тот самый буланный меринок стоял по брюхо в луже, ни пауков, ни комаров, никакого другого гнуса тут не было, потому меринок дремал умиротворенно.

Все лошади были совершенно здоровыми, на их ногах даже невозможно было отыскать следов ран.

Обо всем это казаки донесли иркутскому генерал-губернатору Руперту. Тот распорядился: послать химика, дабы сделать анализ воды в источнике.

Вода оказалась сульфатной. А позднее была выявлена ее радиоактивность – полтора десятка рентген.

Иркутские медики заговорили об этом. Но кому-либо советовать эти воды они не могли – путь крайне трудный.

– Еду! – когда в начале июня сошло половодье в предгорных реках, решила жена губернатора, страдающая «сведением рук». Добиралась она в сопровождении отряда казаков на выючных лошадях.

Она была первой пациенткой на «зверином курорте», как стали именовать это местечко. За ней потянулись другие представители местной знати. Каждый получал исцеление – кто от ревматизма, кто от подагры, полиартрита, кто от кожных корост и язв, от горловых болезней...

– Божье чудо! Господь посылает праведным исцеление! – возвестил епископ в городском соборе.

На источнике в то же лето возникла часовенка, рядом с часовенкой поселился молодой монах.

Слава о диком, отдаленном источнике покатила через всю Сибирь.

Нынче на курорт «Туранэ халун аршан» (так называли курорт), что на берегу горной реки Эхэ-Угун, уже едут по назначению врачей и лечатся жители Белоруссии, Закавказья, Дальнего Востока, и даже из-за рубежа. Через тайгу в горных урочищах проложена асфальтовая дорога. Из Иркутска ходят такси, а от Байкала, со станции Слюдянка, – маршрутный автобус. По-прежнему сюда не только по ночам, а и днем, глядишь, забредут из тайги табунок коз, барсук старый или марал. И народ, не знающий истории курорта, удивляется: зачем тут звери?

Сибиряки утверждают, что даже знаменитое Тамалыкское месторождение фосфоритов на юге Красноярского края открыто дикими животными. Охотоведы заметили массовое скопление всевозможного зверья на склоне горы. Обратились к ботаникам, те объяснили это наличием сладких кормов. Объяснили, а сами задумались: почему же только на этом участке такие корма? Пошли к почвоведом, посоветовались, а те – к геологам... Привезли бурильную установку, взяли пробу в одном квадрате, в другом.

Скоро на карте появился знак – крупнейшие залежи фосфоритов.

И вот еще факт. Но об этом расскажу подробно, так как здесь за всем наблюдал я сам еще тогда, когда ходил с друзьями в Нилову пустынь и на Шумак.

5. Барчин, бракшун...

Но сперва о случае в гостинице «Юность». Прилетел я по командировке журнала «Молодая гвардия» в Москву поздно вечером, позвонил писателю Анатолию Жукову, его не оказалось дома, еще в несколько мест позвонил, идти было некуда, и я сидел в гостинице, от нечего делать рассматривал на столе кусочек пупырчатого черного вещества, привезенного с собой. Моим соседом в номере был парень из Таджикистана, бригадир хлопководов. К нему пришли гости из других номеров, тоже таджики. Лица их настороженно вытянулись, когда они увидели на столе кусочек, похожий на ссохшийся деготь.

– Это... что? – спросили они.

– Да так, – сказал я.

– Это же!.. – нагнувшись над столом, заволновался один из них, назвав вещество по-своему.

– Ну, то самое, – согласился я. – По-сибирски только иначе зовется.

– Где достал?

– Вон... в рюкзаке, – сказал я.

– Мы серьезно.

– В Саянах у нас... в Сибири.

– Разве в Сибири есть?

– Вот видите, есть.

Тут заволновались все. И начали рассказывать, как у них в Горно-Бадахшане это вещество ищут, как оно ценится, и стали просить, чтобы я продал им. Один в азарте выволок из шкафа тугой мешок:

– Сушеный виноград – бери! Весь мешок бери! Лучше нашего винограда нет. Давай кусочек. Вот с ноготь отколи кусочек...

От мешка я отказался, хотя сушеный виноград в Сибири у нас очень был бы кстати моим ребяташкам. Отколол я так, за здорово живешь, каждому парню по кусочку вещества. Сильно поудивлявшись, что я вдруг так, за здорово живешь, всем дал, стали искренне, с восточной горячностью уверять, что я их друг и что они теперь всем у себя будут говорить, что в Сибири живет их лучший друг, побежали по такому поводу за коньяком и шашлыками.

Теперь о самом веществе.

Было это в 1968 году. В путешествие мы (я, композитор Масленников, шахтер Ржанский – с женами) отправились поездом, потом ехали в автобусе, а когда не стало никаких дорог, пошли пешком. Это было уже не то второе, не то третье мое путешествие в глубину Восточного Саяна вместе с Масленниковым. На четвертый день (в Восточном Саяне) мы после ночевки у пастуха, живущего одиноко, перешли через трехкилометровый перевал и остановились у озера.

Был вечер. И это самое озеро, лежащее ниже перевала метрах в пятистах, плохо рассматривалось из-за сумерек. Берега прятались где-то в нагромождении скал.

Середина июля, а несло холодным сквозняком. Очевидно, близко от нас находились ледники.

Костерок был тощенький. За ночь мы намерзли. Когда рассветало, я взгляделся в подзорную трубу. По далекой узенькой терраске двигались козероги – желтые пятна на черно-сером фоне. Животные эти редкие, видеть их удастся не всякому туристу. Зона их обитания – верхние гольцы. В их осанке – гордость и презрение ко всем нам, обитателям уютных низин.

За водопадом начинались кедровые леса с зарослями голубичника, где перепархивали рябчики и глухари.

Мы опустились еще на километр от водопада, ниже по долине. Устроились лагерем. Поляну выбрали с лопушистыми ревенями.

Перед вечером, когда всякое течение воздуха в долине пропало, наступила особая прозрачность в пространстве, опять началось движение козерогов, они теперь видны были простым глазом. Стадо козерогов значительно больше, чем накануне, – голов тридцать.

Животные исчезли в той же расселине, с резко обрывающимися бортами. Несомненно, там есть луг, сладкие травы.

У подножья гольцов осыпался черный курумник. Мертво! Если что и нарушало тут мертвый покой гор, так это осыпающийся курумник, эти камешки. Никакого, конечно, луга тут не оказалось. Животные тыкались мордами в темную, должно, из графита, скалу. Попробовали мы к ним подобраться. Слишком крутой склон, и ни одного выступа, за что уцепиться.

На следующее утро козероги пришли снова, только теперь откуда-то с юго-запада. Их преследовала росомаха. После того как мы выстрелами отпугнули росомаху – стрелять из-за большого расстояния пришлось несколько раз, – мы думали, что козероги больше не появятся. Ничего подобного. Они все приходили, и так же шныряла-лазила вокруг них росомаха. Это были, конечно, разные табуны. Может, и преследующая их росомаха не одна и та же. Не появлялись они только перед дождем.

Шахтер Владислав Ржанский, этот светловолосый добрый богатырь, несколько дней вырубал топором ступени в скале. Мы полезли, захватив веревки.

Звери языками своими навели на камнях глянec. Из трещин выжималось что-то желтое вроде горчичного порошка. А выше, под нависающей плитой, – сосули цвета хны.

По веревкам шахтер подтянулся к сосулям. Странно, в его ладонях эти самые сосули вдруг превращались в серые, затем в желтоватые комочки и вовсе становились какого-то неопределенного цвета.

На другой день было очень солнечное утро, долина, деревья и весь воздух осветились оранжево. Молочно-сахарный туман истлел в ущельях. Налетели кедровки и базарно-празднично галдели на деревьях. Козероги шли табун за табуном. Мы, чтобы не волновать их, сняли, свернули палатки, отошли на реку Эхэ-Гер.

Вернувшись в город, я скоро забыл о приключениях похода, о черной скале, о козерогах. И вспомнил, когда Масленников при встрече на улице похвалился:

– Понимаешь, собака с переломом ноги прискакала: я ей несколько раз подмешивал в пищу по кусочку – заросло, как... на собаке. Потом еще у меня, ты знаешь, зуб ломило. Я в дупло положил крошку этой штуки – прошло. И еще у соседа барахлило в груди что-то, я ему этого порошочка отсыпал, тоже помогло.

– Какого порошочка? Чего отсыпал-то?

– Да того самого вещества, которое на скале набрали. На черной скале-то, где козероги, – пояснил Масленников.

Конечно, от Лени Масленникова и не таких легенд можно ожидать! Из него бы отличная бабка-знахарка вышла. Он вечно носится с какой-нибудь лечебной идеей; одно время убеждал каждого, что если из одуванчиков и пастушьей сумки салат горстями жрать, то вроде бы и никогда не умрешь.

Однако меня вдруг осенило: да ведь в тех зеленоватых, быстро сохнувших сосулях и в самом деле должно быть что-то из ряда вон выходящее! Не так же, не с бухты-барахты идут туда редкие гордые животные, подстерегаемые на тропах хищниками.

Далекая, затерянная в Саянах долина, черная графитовая скала над расселиной, движение козерогов по утрам и вечерам, глубокие тропы, выбитые ими в камнях за века... Что, козерогов свои недуги ведут к этой черной скале?

В Красноярске живет фармацевт Александр Андреевич Махов, низкорослый, тихий мужичок с круглым румяным личиком и причесанными редкими волосенками.

Показал я Александру Андреевичу загадочное то вещество, а он мне свои аптекарские флакончики выставил на стол.

В одном флакончике порошок бледно-розовый, в другом ярко-лимонный, в третьем – белоснежный, как асбест, в четвертом – черный, в следующем – красный...

– Теперь сравните это с тем веществом, что вы принесли с черной, как говорите, скалы.

– Никакого сравнения, – ответил я. – Мое вещество зеленоватое. И кристаллизация не та.

– Верно, не та. И тем не менее все это: и то, что во флакончиках, и то, что у вас, – все это есть барчин. Самый настоящий. То есть в переводе с тувинского – каменное масло, или горное. Да, да, «барчин» так и переводится. – Александр Андреевич светился тихим удовольствием, тянул слова, как бы ощущал приятный вкус каждого слова. – Аборигены Алтайско-Саянской горной системы – шорцы, тувинцы, тофалары, сойоты, камасинцы, буряты, – перечислял фармацевт, – с незапамятных времен пользуются барчином, когда болеют. Например, когда кислотность понижается в желудке, при язвах, гастритах или когда понос, грыжа у детей. Отыскивают аборигены это каменное масло непременно по следам разных зверей.

– Ну а звери тоже лечатся?

– Конечно. Иначе незачем им лезть на те высокие скалы. Приходилось мне, приходилось видеть, как же. Без помощи животных невозможно найти. Природа упрятывает крепко этот бальзам. Многие путают барчин с мумие (по-сибирски – бракшун). Спектральный анализ образцов барчина, проведенный в научных лабораториях, показал, что в них смесь алюминия и железных квасцов...

– А яду никакого? – бухнул я.

Александр Андреевич вытянул губы, попробовал придать лицу скорбное выражение, это у него не получилось, закивал с той же монотонностью.

– Во многих образцах барчина, конечно, присутствуют, не могут не присутствовать большие дозы солей свинца, мышьяка и также бериллия. Такой барчин животные лизать не станут... Как распознать? А вот распознать на глаз нельзя. А потому совершенно, скажу я вам, совершенно недопустимо самолечение.

– Ну а несамолечение?

– Несамолечение... Об этом пока говорить не будем. Не-е знаю. Не-е зна-аю. – Александр Андреевич поднял щитком перед грудью узкие розоватые с фиолетовыми стрелками ладони. – Вопросы такие не в моей компетенции. Скажу лишь, что в древности тех, кто пробовал лечить людей порошком драгоценных камней, называли шарлатанами. Ушло более тысячи лет на реабилитацию их – только сегодня установлено, да, да, что в некоторых драгоценных камнях действительно содержатся микроэлементы, нужные для здоровья всем нам.

Кучи писем приходят к Махову. Просят люди крошечку барчина (каменного масла). Другие, наоборот, спрашивают, в какую аптеку можно сдать имеющийся у них этот горный бальзам.

«В 1963 году я работал в Саянах радистом. Мы там нашли каменное масло – около трех килограммов. Кусочки от него легко растворяются в воде, чуть кисловатые, вязущие во рту, без всякого запаха. В ту часть Саян трудно добраться, и те, кто знает об этом месторождении, приходят за маслом лишь тогда, когда лечатся водами на диком курорте, в верховьях речки Шумак. Говорят буряты, этот курорт „101 ключ от 101 болезни“. Вода курорта хорошо помогает в сочетании с приемом каменного масла. Мы применяли каменное масло при ранениях и при расстройствах желудка. Действует чудесно.

Фомин М. И. Иркутск».

«Как-то в 1964 году в южной части Алтайско-Саянской горной цепи, в древних породах верхнего протерозоя, огнесованных порфиритах, в зоне разлома, по трещинам мне удалось обнаружить бесформенные наплывы лимонно-желтых и белых скоплений призматических кристаллов. Я набрал

ящик образцов и привез в экспедицию. Никто ими не заинтересовался. Глазомерно мы их окрестили квасцами. Вкус горько-вяжущий, хорошо растворяются в воде. Температура плавления низкая – 40–70 градусов. Я давно пользуюсь этими минералами как кровоостанавливающим средством, а также применяю при боли в животе. Хочу вам прислать образцы, может, кто у вас там возьмется да изучит подробно на пользу людям.

*Никифоров Ю. В. Горно-Алтайская авт. обл.,
поселок Майма».*

И вот поздней осенью 1972 года я сидел дома у Юрия Владимировича Никифорова, автора этого письма, известного на Алтае геолога, действительного члена Географического общества, человека тугих мускулов и светлой души. Хозяин насыпал на газеты ворох известково-белой пенообразной массы и рассказывал, как он это все обнаружил за перевалом Чекет-Амана в бассейне реки Чуи.

Шел, говорит, под вечер, приглядывался, искал признаки ртути, поднял вверх голову, а там под навесом скалы, в нишах, вдруг что-то розовым заиграло. Прошел, с другой стороны поглядел. Нет, не розовое. Это луч солнца розовым делал весь белый срез. Принял издали за известь. Поднялся выше. Нет, совсем не известь...

– Вот ведь какая кислая штука, а? – Юрий Владимирович, широкогрудый, сидя за столом, то и дело прикладывал белую пупырчатую массу к языку. – Ну, прямо чистые квасцы. А оно вот не квасцы. Сочетание самых разнообразных солей. В самый раз тем, у кого пониженная кислотность.

А потом принес из сеней крупные черные куски величиной с варежку. Они были похожи на куски засохшей грязи. Но запах от них исходил вроде запаха благородной полыни и можжевельника.

– Это наше сибирское мумие-бракшун. Несколько лет назад кое-кто утверждал, что его у нас в Сибири нет. А оно вот. Верно, до нашей экспедиции его находил охотник Котегов, старый следопыт, но находил в очень небольших количествах. Нам же повезло – мы обнаружили сравнительно крупные скопления.

Я смотрел на куски «грязи». Неужели это та самая масса, о которой слава идет из седой глубины тысячелетий, попеременно то затухая, то разгораясь? Неужели подобному комочку поэты посвящали свои стихи, а путешественники не рисковали трогаться в путь, не имея в кармане хоть крошку такого вещества? Неужели про эту самую массу, как передают легенды, Аристотель говорил, что если смазать ею края только что разрезанной теплой печени убитого барана, то печень срастется?

Юрий Владимирович угадал мои сомнения.

– Да, да, это та самая масса, – сказал он. – Я сам участвовал в экспедиции также и в горную часть Узбекистана. Только я не стану рассказывать полуфантастических-полуреальных историй. Пусть врачи рассказывают.

Подошел Геннадий Михайлович Свиридонов, давний друг Юрия Владимировича, кандидат биологических наук, еще молодой человек, известный специалист по травам, почему-то иронически поулыбался, послушав наши разговоры, покрутил в пальцах кусочек бракшуна, понюхал: да, да, дескать, задачки тут для химиков и медиков.

Врачи. Что же они говорят? От геолога Никифорова я отправился в Красноярский государственный медицинский институт. Находился он на углу Декабристов и Карла Маркса в желтом старом здании, которое теряется в окружении девятиэтажных, густо нарастающих жилых коробок. Принял меня кандидат наук, доцент кафедры общей хирургии Александр Генрихович Швецкий. Про него говорят, что наступательная способность у него не меньшая, чем у наездника, преодолевающего на ипподроме барьеры, – качество, без которого, я думаю, в науке делать нечего.

– Защитные реакции организма во многом определяют активность фагоцитоза, – сказал Александр Генрихович и посмотрел на меня остро и требовательно, желая этим привести к дисциплине мое разбросанное внимание. – Тысячи белых кровяных телец встают на защиту при попадании в организм микробов или других вредоносных агентов. . . В пробирку с кровью вносят культуру микробов, белые кровяные тельца тотчас же начинают захватывать и переваривать их. Подсчитав под микроскопом количество лейкоцитов и захваченных ими микробов, можно точно судить об интенсивности фагоцитоза. Да, а при чем здесь, спросите, ваш бракшун, то есть мумие? А вот. . . Оказалось, что если в пробирку добавить раствор этого бракшуна, то активность фагоцитоза увеличится в два-три раза. Еще более усиливается активность фагоцитоза, если подопытному кролику даем бракшун на протяжении нескольких дней. Кроме того, прошу заметить: однопроцентный раствор этого вещества действует бактериостатически, то есть тормозит рост и развитие микробов. Тормозит! Далее: бракшун значительно ускоряет заживление раны желудка, оно благотворно влияет и на регенерацию печени. Даже трудно так вот сразу перечислить все изученные нами в эксперименте и известные по литературе аспекты действия данного вещества. Проблема клинического использования саянского бракшуна, безусловно, интересна, но в ней есть, к сожалению, слабое место: химический состав его чрезвычайно сложен, а изучение его, как нам кажется, проводится недостаточно. Наиболее простым оказалось исследование входящих в него микроэлементов, их около тридцати, но опять же действие многих из них на организм еще полностью не раскрыто. Возможно, эффект как раз и связан с присутствием большого числа микроэлементов. Но возможно и другое: действуют, возможно, не сами микроэлементы, а сложные органические соединения. Вот их-то, органических соединений, изучение чрезвычайно трудное, идет в науке пока очень медленно, а отсюда – мы не можем пока вооружить наших врачей новым хорошим средством. . .

Вскоре после беседы со Швецким мне удалось поговорить с главным геологом геологического управления в Новокузнецке Павлом Ефимовичем Мертвецовым, человеком многосторонне образованным, из ряда тех, для кого газеты изобрели рубрику «Встреча с интересными людьми».

Был я в Новокузнецке поздней осенью. Снег мокрый на улицах дворники сметали. В управление пришел я после рабочего дня. Здание, свободное от служащих, гулко усиливало мои шаги в коридоре, и главный геолог, сидевший почему-то не в своем кабинете, а в полусоветской комнатке напротив, отворил фанерную дверь мне навстречу.

Павел Ефимович оживленно, с юмором рассказал, как он, вместе с ним другие работники управления поддались уговорам Юрия Владимировича Никифорова и отправились в горы юго-восточнее от Чуйского тракта на поиски каменного масла и мумие. Вылазка была трудной, с приключениями, но, надо сказать, весьма результативной. Нашли оба вида вещества в больших количествах, а главное, выявили условия, при каких получается данное сырье. Скалы должны непременно обтекаться со всех сторон ветровыми потоками и быть подверженными резким температурным переменам.

– Насколько это вещество ценное, судить не нам, не геологам, а медикам и биохимикам, – сказал главный геолог с большой долей озабоченности. – Но если это вещество действительно представляет интерес и для науки, и для практики, то его надо брать немедленно. Нами выявлено, что те места, в каких залегают каменное масло и мумие, находятся под опасностью крупных оползней. Тогда ценное вещество будет похоронено, ну, если не навсегда, то. . . в обломках камней его будет сложно отыскать. Сырье это – часть всего того, что наготовила нам сибирская природа, и, думаю, те, кто озабочен сейчас территориально-производственными комплексами, должны взять под свое внимание и эту кажущуюся на первый взгляд не столь значительной проблему.

Кто наперед знает, какие проблемы значительные, какие незначительные? Выращивание грибов для получения пенициллина, например, в свое время считалось делом легкомысленным. А тут-то сама природа нам наготовила.

С главным геологом нельзя было не согласиться: действительно, кто знает наперед? Из Новокузнецка я вылетел самолетом в тот же вечер. Домой пришел, а дома меня ждал приятный сюрприз: таджики, с которыми я познакомился в Москве в гостинице «Юность», прислали мне мешок урюку и приложением к тому мешку изданную в 1974 году в Душанбе книгу К. Т. Таджиева, Т. М. Тухтаева, Р. Б. Бекиева, С. И. Паук «Мумие и стимуляция регенеративных процессов» под редакцией доктора медицинских наук, профессора В. Д. Рогозкина. В книге есть интереснейшие места.

6. О чем тосковать суждено

Я хожу на берег и упражняюсь в ловле щук. Прохор же рыбу уже не ловит, он тайно от меня ходит в горы соскабливать со скал барчин.

Петр I в 1702 году, заботясь о пополнении государственных аптек медикаментами, издал указ о доставке, возможно, откуда-то отсюда, наряду с лекарственными травами и кореньями и каменного масла – барчина.

В полдень горы теряют над собой сизую дымку, все больше обнажаются, и видно, как время строило долину: когда-то она, долина, была совсем тесной, похожей на ровный коридор, потом при помощи боковой эрозии раздвинулась; водные потоки, прежде хаотические, слились в реку; русло, делая крутые излучины, выбирает, где ему быть, ближе к северному склону или ближе к южному.

По ночам в горных отрогах, проступающих на черном небе, слышится взлаивание, и летят оттуда какие-то странные свистящие звуки. Звуки эти спускаются в распадок, проносятся через него и пропадают в скалах. То красные волки охотятся. Тут пока много их, красных волков, – редкий в иных местах вид. Они стерегут коз на тропах к барчину...

На рыбалке я узнал, когда «зорька» утренняя кончается. Тогда, когда солнце застрянет в нижних сучках сосны;

когда тень от той ивы, возле которой сидишь, сползет с противоположного берега и закачается своим концом на середине речки;

когда шум речки слышен лишь на сто – сто пятьдесят шагов, а дальше уже не слышен;

когда голубое небо станет чуть белесым и когда перед самым глазом замельтешит, стеклянно зазвенит надоедливая муха;

когда зашелестит листком о листок осочка, когда крючок твой станет выдерживаться не только без рыбы, а и без наживы...

Об этом нам суждено тосковать долгую зиму, упрятавшись от вьюг и мороза в своих цементных квартирах, и в мелочах припоминать то, как вон ходит оранжевый свет по вершинам кедров и по цветам, растущим на горных склонах.

1974 г.

На земле потомков Иммакая

1

В комнате для заезжих в притрактовом поселке Кубайка, а было это лет восемь-десять назад, я сидел ужинал, когда вошел высокий мужчина с узким черно-бурым подбородком, усохшими, как бы затынутыми в жесткую частую сетку щеками и редкими, к уху зачесанными волосами цвета ковыля. Он коротко взглянул на дежурную, крупную женщину средних лет, из тех, которых не определишь, то ли добрые они, то ли сердитые; было видно, что с ней он до того о чем-то договаривался, а теперь пришел снова.

– Силер, дарга...¹ – заговорил гость, повернувшись ко мне, но дежурная остановила его.

– Ты эка нетерпеливый, садись сперва. Закуси с нами. Похлебка из баранины еще, горячая, – пригласила дежурная.

– Силер, дарга, ехать со мной хорошо, – сказал тувинец, продолжая стоять. – Триста километров и еще маленько. Близко совсем. Машиной ездим, близко стало.

– Ну, допустим, не совсем, – хохотнул кто-то из отдыхающих шоферов. – Триста километров, и по нашим сибирским понятиям, не так-то уж мало, чтобы утверждать, что это совсем близко.

– Трубок выкуришь много ли? Солнце за гору село – поехал, солнце из-за горы вышло – приехал. Когда тропой ходил, трубок курил сильно много, – резонно возразил тувинец. – Силер ехать лучше. Писать, дарга, будете. Хороший человек есть.

Тувинец, утомленный непривычно длинной речью, наконец-то сел, подобрал под стул ноги, курил, глядя в щелястый скобленный пол. Он, очевидно, ожидал, когда я соберусь.

За тротуаром стоял его грузовик со свежеевыкрашенным зеленым прицепом. Еще недавно этот пожилой человек не знал иного транспорта на своих горных и степных тропах, кроме низкорослой косматой лошади и верблюда.

– Лесник, дарга, хороший сильно есть, – заговорил опять тувинец. – Едешь по степи, ничего нету. Едешь назад – как ребятишки, стоят кустики, деревья маленькие. Кто ребятишек пустил таких? Выходит, хороший кижипустил. Люди говорят про человека. Атаманов Родион Семеныч, говорят. Волоса длинные, Эки белир². Ругается сильно, когда плохо... К нему ехать надо. Смотреть деревья надо. Без леса степь пропадать будет. Тоже писать надо. И Никола Николаича, и Родион Семеныча... Сильно хорошие люди...

Дежурная, начавшая тяготиться гостем, проводила его на крыльцо, говоря ему в высокую спину:

– Ты давай езжай-ка, с рейса тебе платят. За то, что сидишь, тебе не платят. Езжай давай. Людям отдыхать надо. Не поедет человек, видишь.

Сгусток выхлопного газа, оставленный грузовиком, не разрежаясь, не теряя сгущенности, передвинулся над редкой низкой изгородью, через тротуар, повис у окна. Сгусток этот долго висел между цветочной клумбой и колючим кустарником. Потом вокруг этого газового клочка стал собираться туман, разрастаясь, охватывая дорогу и покрывая весь поселок.

В меня вошло беспокойство, будто я что-то не успел сделать, упустил, и теперь уж никогда не будет того, что могло быть. Я аж вспотел. Я стал думать, что же такое упустил, не мог вспомнить. И лишь когда лег в постель – узкая койка у окна – прояснилось: да ведь тувинца

¹ Вам, начальник... (тув.)

² Хорошо известно (тув.).

упустил, надо было действительно с ним ехать. Сам он, должно, интересный человек, а с хорошим попутчиком самый долгий путь – недолгий.

– Грузы он сопровождает, ездит с верховьев Хемчика. Когда малины занесет в корзинке, человек-то обходительный, когда брусники, – рассказывала дежурная, сидя с подобранными под себя ногами на диване. – У них по трассе малины да брусники страсть сколько. По логам да угоркам. Когда бутылочку он попросит припаси, припасем, что ж, дело такое, все под вечер угадывает сюда, когда уж не дают в магазинах.

Сильный туман, тяжело осевший с вечера и продолжавший сгущаться всю ночь, задержал всех, кто не захотел ночевать в заезжем доме и выехал вечером, дав им добраться лишь до первого распадка, что в шести километрах от поселка. И я, вышедший утром, с рассветом, по холодку, нагнал колонну. Знакомый с прицепом грузовик, уткнувшись правым буфером в красную песчаниковую скалу, был виден из молочно-чистой пелены лишь до середины борта, а рядом высокая узкая спина человека. Это и был тот, кто мне нужен.

– Дарга со мной ехать хочет! Туву дарга глядеть хочет, – обрадовался тувинец, сходя на откос дороги, усыпанной гравием.

Мы познакомились: тувинца звать Даваа Мерген.

Туман отрывался от земли медленно, между ним и кустами караги образовалось голубоватое пространство, это настораживало, так как мог собраться дождь, и по мокрым спускам транспорт начнет скользить.

Но заструился откуда-то ветер. Весь этот белый полог перестал подниматься вверх, сразу поосел, захватив вершинки кустов, потом сдвинулся к распадку и, убывая, начал скатываться в него, разрываясь на полосы и скручиваясь по ходу в тугие жгуты.

Путь на Хемчик, левый приток Енисея, идет через Чадан, через Хорум-Даг, Кызыл-Мажалык, конечный путь сквозного тракта, где примыкает к дороге одним своим боком голая, изрезанная каменистыми оврагами степь.

Дождь все же собрался – тучи лежали где-то на скалах, поросших редким хвойником, их поднял и выгнал оттуда верховой ветер.

По склону, усыпанному красновато-бурыми кусками песчаника, паслось стадо крупных темных коротконогих животных с сильно раздавленными копытами, рогами коровы и хвостом лошади, с шерстью, свисающей до земли. Животные, тыкаясь мордами в камни, сощипывали редкую траву.

– Почему не пасешь вон там, ниже, в той ложине, где трава гуще и нет камней? – спросил мой спутник Даваа Мерген пастуха, лениво следящего за полетом орла. Орел совсем не пугался дождя, будто хотел обмыться его струями теплыми, и парил лениво, так, от нечего делать, ударяя раза два крылом по набухшему воздуху и опять долго вися неподвижно.

– Там для сенокоса, дарга, – ответил пастух, он был молодой и равнодушный.

Даваа Мерген спросил его про какого-то старика, чум которого когда-то был здесь, на этом склоне, пастух сказал, что старик тот не живет тут с того времени, как начали строить у горы Кара-Даш комбинат «каменного льна» (асбестовый); дочь его, которая замужем за русским техником, взяла отца к себе, старик с ней теперь и с зятем не то в Кызыле, не то в соседнем, в Мунгун-Тайгинском, районе, в Мугур-Аксы.

– Счастье старику большое, – раздумчиво сказал Даваа Мерген. – Внуки будут орлами и лебедями сразу. Когда дочь за русского выходит, тогда у внуков сердце лебедя, а глаза орла. И когда сын берет русскую, тоже шибко хорошо.

Солнце клонилось к тайге, что синела вдоль высоких берегов реки Алаш. На макушке горы Менгулек светилась оранжево-перламутровая корона вечных снегов.

С востока уже тянуло сиреневыми сумерками, связывающими взгляд. Потом поселки в степи стали выказываться из-за холмов кучечками огней.

То, что кучечками, это для данной местности не совсем обычно, ибо не так давно люди тут селились еще в одиночку, по-кочевому, и тогда проезжий ночной путник мог видеть в темной степи только одиночные огни. Ушел вчерашний день и с ним многое, себя изжившее.

Глубока и очень трагична история страны кочевников. «Шубу не надевая – замерзнешь, прошлого не зная – споткнешься», – говорит тувинская поговорка.

Мой спутник рассказывает тягуче, дорога долгая, торопиться не надо. Больше молчит, полагая, что молчание лучше скажет правду, чем слова.

Чум самого Даваа Мергена вон там стоял, на середине склона горы Менгулек.

Человек родился в понедельник, поэтому его называли Даваа. Отец хотел, чтобы сын стал умным, и еще назвал его Мерген, что значит мудрый. Даваа Мерген, как отделился от отца, так сразу откочевал туда, где больше травы и меньше людей. Ни золото, ни другие металлы ему ни к чему. Это не дело арата.

Соседи по кочевью определили: человек, родившийся в понедельник, не зря носит имя Мерген: он зимой, в самые сильные морозы, не выгоняет овец из хлева, как это другие делают, а бросает им понемногу сена, которое готовит с лета. Больше руками траву срывал он, меньше серпом. Скручивал траву в жгуты и развешивал жгуты сушиться на кусты повыше, чтобы дикие козы не достали. Потом утрамбовывал в вязанки, к чуму стаскивал.

«Стрела без оперения – мимо бьет, без оглядки живущий – в беду попадет», – любил говорить отец и другие старики.

Слышал Даваа Мерген, что за тремя горами русские не руками траву срывают и даже не серпом, а какой-то особо ловкой штукой, сходить бы через горы, посмотреть, да разве есть время на такой длинный путь.

Как-то одну весну ветер слизнул в ложине снег. Даваа Мерген выехал пахать. Скорее надо, пока земля всю воду не выпустила из себя, пылью не стала. Не зря его называли Мерген, другие не сеют ничего, а он немножко проса сеет. Хорошо, когда зимой в чуме слышится хруст камней жерновов или стучит ступка, значит, есть что в рот ребятишкам положить. И совсем плохо, когда зимой ступка не стучит.

Слышал Даваа Мерген, что за тремя горами русские давно пахут землю не так, как он, деревянной сохой, а чем-то таким пахут, от чего земля на пласты нарезается, как кожа на ремни. Русские, они, должно, все сильно большие Мергены.

Вечером Даваа Мерген вошел в чум, зажег жировик. Поужинать надо. Ел, вглядываясь в шатающийся лоскуток огня, и думал, что у русских, говорят, светильник горит без жира, от ветра не гаснет, не шатается. В пузырьке горит.

Поел хозяин, закурил трубку, протянул руку, чуть привстав, затушил жировик, курил о темноте, все думая о том же.

Стал Даваа Мерген чаще смотреть туда, за три горы, и спрашивать встречающихся охотников, не бывали ли они там, за теми тремя горами, не заводила ли их туда тропа удачи.

Потом стало происходить чудное. Посудите вот.

Приехал человек. Лицо белое, глаза синие. Привез длинные кривые ножи на длинных палках. Слез с лошади. Взял один такой нож, отошел, где трава поплотнее да и давай махать.

Трава под ножом в рядок сбивается. Прошел человек до конца ложины, травы нет, вся она легла в валок.

«Выбирай, – говорит и смеется веселый человек, – себе литовку. Русские тебе послали. Бросай свой серп».

Взял Даваа Мерген литовку. Головой крутит. Не знает, за что ему такое, а приезжий смеется, синие глаза щурятся на солнце:

– Бери, бери, мне к другим стойбищам надо ехать, другим раздавать литовки.

А через два лета тот же человек не верхом прискакал, а на телеге прикатил. Телега чудная – со стулом.

– Как работается, друг? – спросил он и опять щурится весело.
– Сильно хорошо, дарга. – Даваа Мерген косил литовкой траву.
– Нет, не совсем у тебя хорошо. Вот как надо. – И с этими словами гость понукнул лошадей. Телега одним боком вдруг припала к земле.

Будто табун саранчи застрекотал. Не телега это, а дьявол. Подчистую стрижет поле она.
– Русские прислали, – сказал гость.

Так появилась конная сенокосилка.

Потом в Хемчикской долине появились плуг, трактор, сноповязалка, молотилка – все из-за тех трех гор.

Близки вершины двух гор, а не сойдутся, далеко два друга, а встретятся.

В войну собирали араты в своих чумах, на своих кочевьях все, что могли и что, по их мнению, могло пригодиться в окопах советским солдатам, собирали и слали на фронт. Верблюд показывает себя в караване, человек в дружбе.

Караваны верблюдов, навьюченных вещами и продуктами, двигались через горы на северо-запад.

Караваны шли до автомобильных и железных дорог, перегружались.

Триста восемьдесят пять вагонов с подарками, сорок тысяч лошадей, деньги на три эскадрильи боевых самолетов, двадцать семь тысяч голов скота...

Тому, кто тебе щедро помогал в трудный твой час, в трудный день и в трудный год, как не помочь так же щедро! Беда соседа, беда брата – твоя беда. Ускакали первые кавалеристы-добровольцы, уехали на фронт первые танкисты-добровольцы... Проводил и Даваа Мерген своего старшего – Кунгу. Ждал от него вестей, все в степь глядел...

Жители украинского города Ровно прислали горсть земли из братской могилы, в которой похоронены воины-тувинцы, прислали воинам-тувинцам, оставшимся в живых, и письмо:

Дорогие друзья и товарищи!

В памятный день освобождения родного города от фашистского ига сердечно приветствуем Вас. Желаем Вам и в дальнейшем быть такими же мужественными, смелыми, какими Вы были в грозные годы войны. Подвиг Ваш, дорогие защитники Родины, мы навсегда сохраним в своем сердце...

Вот оно! У патриотов города Ровно, живущих в Европе, и у маленького народа, живущего в глубине Азии, меж высокими Шапшальскими и Удинскими хребтами, одна родина. Как она одна у белорусов и узбеков, у якутов и молдаван. Естественно!

Копию этого дорогого письма дали Даваа Мергену: его Кунга в той братской могиле. Печалиться не надо – считает старик. Счастлив, кто принял смерть за сестру и за мать. Вдвойне счастлив – когда за народ. А его Кунга – за много народов! Никогда тувинцу не выпадало такое, чтобы сразу – за много народов.

В августе 1944 года чрезвычайная сессия Малого хурала трудящихся Тувинской Народной Республики единогласно приняла декларацию «О вхождении Тувинской Народной Республики в состав Союза Советских Социалистических Республик».

«Ручьи сольются – река, люди сольются – океан». С точки зрения жителя средней сибирской полосы, привыкшего к великим пространствам, Тува – это малый клочок земли, зажатый с одной стороны скалистыми Алтаем, с другой Западным Саяном, с третьей хребтом Танну-Ола, и с востока – Прихубсугульскими горами. На самом же деле клочок этот немаленький, и даже совсем не клочок, если учесть, что на нем смогли бы разместиться Голландия, Бельгия, Дания, Швейцария, Люксембург – сразу. Это ощущаешь, когда едешь вот так по степи, в синеве таких вечерних сумерек, заворачивая за горные мыски, попадая в новые долины.

Свыше восьмидесяти процентов гор и меньше двадцати процентов равнинных участков – таков рельеф.

В Тоджинскую котловину забредали мамонты и шерстистые носороги. В Убсу-Нурской впадине паслись антилопы.

Очень резкие перепады суточных температур. Кроме того, резкие температурные отличия и между точками рельефа. На хребте термометр в январе, в предутренние часы, может показывать минус пятьдесят, а на дне долины – минус пятнадцать. Это объясняет, почему есть здесь животные, прямо противоположные по типу – обитатели холодной Арктики и жарких пустынь: козерог, северный олень, архар, снежный барс, дзерен, верблюд, корсак, кабан, ушастый еж...

Иностранные туристы, бывая здесь, удивляются: находящаяся на одной широте с Чехословакией и Бельгией, Тува имеет среднегодовую температуру воздуха почти минус пять, а в Брюсселе и в Праге плюс восемь. В межгорных складках прячется свыше четырехсот больших и малых озер. На одном из них прошлым летом побывал красноярский композитор Леонид Масленников с семьей, вернулся, рассказывал: «Вот беру этак спиннинг, цепляю пять обманок, бросаю, даю первому хариусу (а они там вот до локтя) увести леску на всю катушку... Потом начинаю подматывать. И вижу: кипит все. На каждой обманке по рыбине; а кроме того, за этими рыбинами еще идет стая рыбин, а среди – плавниками наружу таймени, как черные торпеды...»

Расстались с Даваа Мергеном мы в Хорум-Даге, огни бисером утекали по черноте снизу вверх, это подтверждало, что поселок расположен в межгорной чаше и что мы въехали со стороны долины.

Пошел я в заезжий дом ночевать: Даваа Мерген ненавязчиво, явно стесняясь, приглашал к себе, ширял рукой в темноте, в каком направлении его дом: в соседнем поселке, где немного людей осталось. Говорил, что через два дня он поедет в Кызыл и завезет меня к лесоводу Родиону Семеновичу Атаманову, это попутно. Поблагодарив доброго старика, обещал я, что заеду к нему как-нибудь в другой раз, потому что мне необходимо побывать там, где готовится ложе водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС.

Это «другой раз» вышло нескоро, только в 1975-м. Старика я не нашел: за три года до этого он, будучи проводником в экспедиции, погиб в горах.

Нашел я дочь его, не ту, что в Ленинграде, а ту, что в Ак-Даше живет – Кюскелмаа. Низкорослая женщина лет тридцати пяти с угольно-черными, отливающими жиром волосами, гладко зачесанными и приколотыми на затылке красным гребнем. Из конторы, где она работает бухгалтером, Кюскелмаа провела меня к себе домой. Ворота на русский манер – дощатые, с резьбой по арке и с пилястрами на столбах. Двор полон ребятишек, и все русоволосые, а глаза жарко-черные, материны, и скулы тоже материны. Хозяйка нарезала на стол холодного мяса и домашнего сыра. Я спросил, а где хозяин и как его звать. Женщина сказала, что он повез археологам лопаты и продукты, тут недалеко, за рекой, а звать его Алеша. Мне вспомнилось, как говорил Даваа Мерген: «Когда дочь за русского выходит, тогда дети рождаются с сердцем лебедя, а глазами орла». Смотрел я на ребятишек, прямоногих, очень красивых – дед, конечно, видел в них подтверждение своим словам.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.